

Литрес ≡ Классика

Юрий Тынянов

КЮХЛЯ



Юрий Тынянов

Кюхля

«ЛитРес»

1925

Тынянов Ю. Н.

Кюхля / Ю. Н. Тынянов — «ЛитРес», 1925

Роман Юрия Тынянова воссоздаёт судьбу Вильгельма Кюхельбекера – лицейского друга Пушкина, восторженного поэта и неловкого мечтателя. Проследивая его путь от юношеских идеалов и литературных исканий до вовлечения в декабристское движение, автор показывает, как искренний и пылкий «Кюхля» с его верой в свободу и справедливость оказывается перед лицом трагических исторических потрясений.

© Тынянов Ю. Н., 1925

© ЛитРес, 1925

Содержание

Виля	6
I	6
II	10
III	12
Бехелькюкериада	15
I	15
II	19
III	21
IV	22
V	24
VI	27
VII	29
VIII	32
IX	34
X	37
XI	38
Петербург	39
I	39
II	41
III	44
IV	46
V	50
VI	53
VII	56
VIII	57
IX	61
X	63
Европа	65
I	65
II	67
III	68
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Юрий Николаевич Тынянов
Кюхля

ЛитРес
библиотека

© «Литрес», 2026

Виля

I



Вильгельм кончил с отличием пансион.

Он приехал домой из Верро изрядно вытянувшийся, ходил по парку, читал Шиллера и молчал загадочно. Устинья Яковлевна видела, как, читая стихи, он оборачивался быстро и, когда никого кругом не было, прижимал платок к глазам.

Устинья Яковлевна незаметно для самой себя подкладывала потом ему за обедом кусок получше.

Вильгельм был уже большой, ему шел четырнадцатый год, и Устинья Яковлевна чувствовала, что нужно с ним что-то сделать.

Собрался совет.

Приехал к ней в Павловск молодой кузен Альбрехт, затянутый в гвардейские лосины, прибыла тетка Брейткопф, и был приглашен маленький седой старичок, друг семьи, барон Николаи. Старичок был совсем дряхлый и нюхал флакончик с солью. Кроме того, он был сластена и то и дело глотал из старинной бонбоньерки леденец. Это очень развлекало его, и он с

трудом мог сосредоточиться. Впрочем, он вел себя с большим достоинством и только изредка путал имена и события.

– Куда определить Вильгельма? – Устинья Яковлевна с некоторым страхом смотрела на совет.

– Вильгельма? – переспросил старичок очень вежливо. – Это Вильгельма определить? – и понюхал флакончик.

– Да, Вильгельма, – сказала с тоскою Устинья Яковлевна.

Все молчали.

– В военную службу, в корпус, – сказал вдруг барон необычайно твердо. – Вильгельма в военную службу.

Альбрехт чуть-чуть сощурился и сказал:

– Но у Вильгельма, кажется, нет расположения к военной службе.

Устинья Яковлевна почудилось, что кузен говорит немного свысока.

– Военная служба для молодых людей – это все, – веско сказал барон, – хотя я сам никогда не был военным... Его надо зачислить в корпус.

Он достал бонбоньерку и засосал леденчик.

В это время Устинька-Маленькая вбежала к Вильгельму. (И мать и дочь носили одинаковые имена. Тетка Брейткопф называла мать Justine, а дочку Устинькой-Маленькой.)

– Виля, – сказала она, бледнея, – иди послушай, там о тебе говорят.

Виля посмотрел на нее рассеянно. Он уже два дня шептался с Сенькой, дворовым мальчишкой, по темным углам. Днем он много писал что-то в тетрадку, был молчалив и таинствен.

– Обо мне?

– Да, – зашептала Устинька, широко раскрыв глаза, – они хотят тебя отдать на войну или в корпус.

Виля вскочил.

– Ты знаешь наверное? – спросил он шепотом.

– Я только что слышала, как барон сказал, что тебя нужно отправить на военную службу в корпус.

– Клянись, – сказал Вильгельм.

– Клянусь, – сказала неуверенно Устинька.

– Хорошо, – сказал Вильгельм, бледный и решительный, – ты можешь идти.

Он опять засел за тетрадку и больше не обращал на Устиньку никакого внимания.

Совет продолжался.

– У него редкие способности, – говорила, волнуясь, Устинья Яковлевна, – он расположен к стихам, и потом, я думаю, что военная служба ему не подойдет.

– Ах, к стихам, – сказал барон. – Да, стихи – это уже другое дело.

Он помолчал и добавил, глядя на тетку Брейткопф:

– Стихи – это литература.

Тетка Брейткопф сказала медленно и отчеканивая каждое слово:

– Он должен поступить в Лицею.

– Но ведь это, кажется, во Франции – Лусее,¹ – сказал барон рассеянно.

– Нет, барон, это в России, – с негодованием отрезала тетка Брейткопф, – это в России, в Сарском Селе, полчаса ходьбы отсюда. Это будет благородное заведение. Justine, верно, даже об этом знает: там должны, кажется, воспитываться, – и тетка сделала торжествующий жест в сторону барона, – великие князья.

– Прекрасно, – сказал барон решительно, – он поступает в Лусее.

Устинья Яковлевна подумала:

¹ Лицей (фр.).

«Ах, какая прекрасная мысль! Это так близко».

– Хотя, – вспомнила она, – великие князья там не будут воспитываться, это раздумали.

– И тем лучше, – неожиданно сказал барон, – тем лучше, не поступают и не надо. Вильгельм поступает в Лусее.

– Я буду хлопотать у Барклаев, – взглянула Устинья Яковлевна на тетку Брейткопф. (Жена Барклая де Толли была ее кузина.) – Ее величество не нужно слишком часто тревожить. Барклаи мне не откажут.

– Ни в каком случае, – сказал барон, думая о другом, – они вам не смогут отказать.

– А когда ты переговоришь с Барклаем, – добавила тетка, – мы попросим барона отвезти Вильгельма и определить его.

Барон смутился.

– Куда отвезти? – спросил он с недоумением. – Но Лусее ведь не во Франции. Это в Сарском Селе. Зачем отвозить?

– Ах, Бог мой, – сказала тетка нетерпеливо, – но их там везут к министру, графу Алексею Кирилловичу. Барон, вы старый друг, и мы надеемся на вас, вам это удобнее у министра.

– Я сделаю все, решительно все, – сказал барон. – Я сам отвезу его в Лусее.

– Спасибо, дорогой Иоанникий Федорович.

Устинья Яковлевна поднесла платок к глазам.

Барон тоже прослезился и разволновался необычайно.

– Надо его отвезти в Лусее. Пусть его собирают, и я его повезу в Лусее.

Слово Лусее его заворожило.

– Дорогой барон, – сказала тетка, – его надо раньше представить министру. Я сама привезу к вам Вильгельма, и вы поедете с ним.

Барон начинал ей казаться институткой. Тетка Брейткопф была маман Екатерининского института.

Барон встал, посмотрел с тоской на тетку Брейткопф и поклонился:

– Я, поверьте, буду ждать вас с нетерпением.

– Дорогой барон, вы сегодня ночуете у нас, – сказала Устинья Яковлевна, и голос ее задрожал.

Тетка приоткрыла дверь и позвала:

– Вильгельм!

Вильгельм вошел, смотря на всех странным взглядом.

– Будь внимателен, Вильгельм, – торжественно сказала тетка Брейткопф. – Мы решили сейчас, что ты поступишь в Лицею. Эта Лицея открывается совсем недалеко – в Сарском Селе. Там тебя будут учить всему – и стихам тоже. Там у тебя будут товарищи.

Вильгельм стоял как вкопанный.

– Барон Иоанникий Федорович был так добр, что согласился сам отвезти тебя к министру.

Барон перестал сосать леденец и с интересом посмотрел на тетку.

Тогда Вильгельм, не говоря ни слова, двинулся вон из комнаты.

– Что это с ним? – изумилась тетка.

– Он расстроен, бедный мальчик, – вздохнула Устинья Яковлевна.

Вильгельм не был расстроен. Просто на эту ночь у него с Сенькой был назначен побег в город Верро. В городе Верро ждала его Минхен, дочка его почтенного тамошнего наставника. Ей было всего двенадцать лет. Вильгельм перед отъездом обещал, что похитит ее из отчего дома и тайно с ней обвенчается. Сенька будет его сопровождать, а потом, когда они поженятся, все втроем будут жить в какой-нибудь хижине, вроде швейцарского домика, собирать каждый день цветы и землянику и будут счастливы.

Ночью Сенька тихо стучит в Вилино окно.

Все готово.

Вильгельм берет свою тетрадку, кладет в карман два сухаря, одевается. Окно не затворено с вечера – нарочно. Он осторожно обходит кровать маленького Мишки, брата, и лезет в окно.

В саду оказывается жутко, хотя ночь светлая.

Они тихо идут за угол дома – там они перелезут через забор. Перед тем как уйти из отчего дома, Вильгельм становится на колени и целует землю. Он читал об этом где-то у Карамзина. Ему становится горько, и он проглатывает слезу. Сенька терпеливо ждет.

Они проходят еще два шага и наталкиваются на раскрытое окно.

У окна сидит барон в шлафроке и ночном колпаке и равнодушно смотрит на Вильгельма.

Вильгельм застывает на месте. Сенька исчезает за деревом.

– Добрый вечер. *Bon soir, Guillaume*, – говорит барон снисходительно, без особого интереса.

– Добрый вечер, – отвечает Вильгельм, задыхаясь.

– Очень хорошая погода – совсем Венеция, – говорит барон, вздыхая. Он нюхает флакончик. – Такая погода в мае бывает, говорят, только в високосный год.

Он смотрит на Вильгельма и добавляет задумчиво:

– Хотя теперь не високосный год. Как твои успехи? – спрашивает он потом с любопытством.

– Благодарю вас, – отвечает Вильгельм, – из немецкого хорошо, из французского тоже.

– Неужели? – спрашивает изумленно барон.

– Из латинского тоже, – говорит Вильгельм, теряя почву под ногами.

– А, это другое дело, – барон успокаивается.

Рядом раскрывается окно и показывается удивленная Устинья Яковлевна в ночном чепце.

– Добрый вечер, Устинья Яковлевна, – вежливо говорит барон, – какая чудесная погода. У вас здесь *Firenze la Bella*.² Я прямо дышу этим воздухом.

– Да, – говорит, оторопев, Устинья Яковлевна, – но как здесь Вильгельм? Что он делает здесь ночью в саду?

– Вильгельм? – переспрашивает рассеянно барон. – Ах, Вильгельм, – спохватывается он. – Да, но Вильгельм тоже дышит воздухом. Он гуляет.

– Вильгельм, – говорит Устинья Яковлевна с широко раскрытыми глазами, – поди сюда. Вильгельм, замирая, подходит.

– Что ты здесь делаешь, мой мальчик?

Она испуганно смотрит на сына, протягивает сухонькую руку и гладит его жесткие волосы.

– Иди ко мне, – говорит Устинья Яковлевна, глядя на него с тревогой. – Влезай ко мне в окно.

Вильгельм, понутив голову, лезет в окно к матери. Слезы на глазах у Устиньи Яковлевны. Видя эти слезы, Вильгельм вдруг всхлипывает и рассказывает все, все. Устинья Яковлевна смеется и плачет и гладит сына по голове.

Барон еще долго сидит у окна и нюхает флакончик с солями. Он вспоминает одну итальянскую артистку, которая умерла лет сорок назад, и чуть ли не воображает, что находится в *Firenze la Bella*.

² Прекрасная Флоренция (ит.).

II

Барон надевает старомодный мундир с орденами, натягивает перчатки, опираясь на палку, берет под руку Вильгельма, и они едут к графу Алексею Кирилловичу Разумовскому, министру.

Они входят в большую залу с колоннами, увешанную большими портретами. В зале человек двенадцать взрослых, и у каждого по мальчику. Вильгельм проходит мимо крошечного мальчика, который стоит возле унылого человека в чиновничьем мундире. Барон опускается в кресла. Вильгельм начинает оглядываться. Рядом с ним стоит черненький, вертлявый, как обезьяна, мальчик. Его держит за руку человек в черном фраке, с орденом в петличке.

– Мишель, будьте же спокойны, – картавит он по-французски, когда мальчик начинает делать Вильгельму гримасы.

Это француз-гувернер Московского университетского пансиона пришел определять Мишу Яковлева.

Неподалеку от них стоит маленький старичок в парадной форме адмирала. Брови его насуплены, он, как и барон, опирается на палочку. Он сердит и ни на кого не смотрит. Возле него стоит мальчик, румяный, толстый, с светлыми глазами и русыми волосами.

Завидев барона, адмирал проясняется.

– Иоанникий Федорович? – говорит он хриплым баском.

Барон перестает сосать леденец и смотрит на адмирала. Потом он подходит к нему, жмет руку.

– Иван Петрович, cher amiral.³

– Петр Иванович, – ворчит адмирал, – Петр Иванович. Что ты, батюшка, имена стал путать.

Но барон, не смущаясь, пускается в разговор. Это его старый приятель – у барона очень много старых приятелей – адмирал Пущин. Адмирал недоволен. Он ждет министра уже с полчаса. Проходят еще пять минут. Вильгельм смотрит на румяного мальчика, а тот с некоторым удивлением рассматривает Вильгельма.

– Ваня, – говорит адмирал, – походите по залу.

Мальчики неловко идут по залу, пристально смотрят друг на друга. Когда они проходят мимо Миши Яковлева, Миша быстро показывает им язык. Ваня говорит Вильгельму:

– Обезьяна.

Вильгельм отвечает Ване:

– Он совсем как паяс.

Адмирал начинает сердиться. Он стучит палкой. Одновременно стучит палкой и барон. Адмирал подзывает дежурного чиновника и говорит ему:

– Его превосходительство намерен сегодня нас принять?

– Простите, ваше превосходительство, – отвечает чиновник, – его превосходительство кончает свой туалет.

– Но мне нужен Алексей Кириллович, – говорит выходя из себя адмирал, – а не туалет его.

– Немедля доложу, – чиновник с полупоклоном скользит в соседний зал.

Через минуту всех зовут во внутренние комнаты. Прием начинается.

К адмиралу подходит щеголь в черном фраке и необыкновенном жабо, крепко надушенный и затянутый. Глазки у него живые, чуточку косые, нос птичий, и, несмотря на то, что он стянут в рюмочку, у щеголя намечается брюшко.

³ Дорогой адмирал (фр.).

– Петр Иванович, – говорит он необыкновенно приятным голосом и начинает сыпать в адмирала французскими фразами.

Адмирал терпеть не может ни щеголей, ни французятины и, глядя на щеголя, думает: «Эх, шалбер» (шалберами он зовет всех щеголей); но почет и уважение адмирал любит.

– Вы кого же, Василий Львович, привезли? – спрашивает он благосклонно.

– Племянника, Сергей Львовичева сына. Саша, – зовет он.

Саша подходит. Он курчавый, быстроглазый мальчик, смотрит исподлобья и ходит увальнем. Увидя Вильгельма, он смеется глазами и начинает за ним тихо наблюдать.

В это время из кабинета министра выходит высокий чиновник; он держит в руках лист и выкликает фамилии:

– Барон Дельвиг, Антон Антонович!

Бледный и пухлый мальчик с сонным лицом идет неохотно и неуверенно.

– Комовский!

Крохотный мальчик семенит аккуратно маленькими шажками.

– Яковлев!

Маленькая обезьяна почти бежит на вызов.

Чиновник вызывает Пущина, Пушкина, Вильгельма.

У министра жутковато. За столом, покрытым синей скатертью с золотой бахромой, сидят важные люди. Сам министр – с лентой через плечо, толстый, курчавый, с бледным лицом и кислой улыбкой, завитой и напoмаженный. Он лениво шутит с длинным человеком в форменном мундире, похожим не то на семинариста, не то на англичанина. Длинный экзаменует. Это Малиновский, только что назначенный директор Лицея. Он задает вопросы, как бы отстукивая молоточком, и ждет ответа, склонив голову набок. Экзамен кончается поздно. Все разъезжаются. Яковлев на прощанье делает такую гримасу, что Пушкин скалит белые зубы и тихонько толкает Пущина в бок.

III

19 октября Вильгельм долго обряжался в парадную форму. Он натянул белые панталоны, надел синий мундирчик, красный воротник которого был слишком высок, повязал белый галстук, оправил белый жилет, натянул ботфорты и с удовольствием посмотрел на себя в зеркало. В зеркале стоял худой и длинный мальчик с вылупленными глазами, ни дать ни взять похожий на попугая.

Когда в лицейском коридоре все стали строиться, Пушкин посмотрел на Вильгельма и засмеялся глазами. Вильгельм покраснел и замотал головой, как будто воротник ему мешал. Их ввели в зал. Инспектор и гувернеры, суется, расставили всех в три ряда и сами стали перед ними, как майоры на разводе.

Между колонн в лицейском зале стоял бесконечный стол, покрытый до пола красным сукном с золотой бахромой. Вильгельм зажмурил глаза – столько было золота на мундирах.

В креслах сидел бледный, пухлый, завитой министр и разговаривал с незнакомым старцем. Он осмотрел тусклым взглядом всех, потом сказал что-то на ухо бледному директору, отчего тот побледнел еще больше, и вышел.

Тишина.

Открылась дверь, и вошел царь. Голубые глаза его улыбались на все стороны, щегольской сюртук сидел в обтяжку на пухлых боках; он сделал белой рукой жест министру и указал на место рядом с собой. Нескладный и длинный, шел рядом с ним великий князь Константин. Нижняя губа его отвисла, он имел заспанный вид, горбился, мундир сидел на нем мешком. Рядом с царем, с другой стороны, двигалась белая кружевная пена – императрица Елизавета, и шумел на всю залу ломкий шелк – шла старая императрица.

Уселись. Со свертком в руке, дрожа от волнения и еле передвигая длинными ногами, вышел директор и, запинаясь, глухим голосом, стал говорить про верноподданнические чувства, которые надлежало куда-то внедрить, развить, утвердить. Сверток плясал в его руках. Он как замороженный смотрел в голубые глаза царя, который, подняв брови и покусывая губы, его не слушал. Адмирал Пушин стал громко кашлять, Василий Львович чихнул на весь зал и покраснел от смущения. Только барон Николай смотрел на директора с одобрением и нюхал свой флакончик.

«Его величество», – слышалось среди бормотания, потом опять: «его величество», и опять бормотание. Директор сел, адмирал отдышался.

За директором выступил молодой человек, прямой, бледный. Он не смотрел, как директор, на царя, он смотрел на мальчиков. Это был Куницын, профессор нравственных наук.

При первых звуках его голоса царь насторожился.

– Под наукой общежития, – говорил Куницын, как бы порицая кого-то, – разумеется не искусство блистать наружными качествами, которые нередко бывают благовидною личиной грубого невежества, но истинное образование ума и сердца.

Протянув руку к мальчикам, он говорил почти мрачно:

– Настанет время, когда отечество поручит вам священный долг хранить общественное благо.

И ничего о царе. Он как бы забыл о его присутствии. Но нет, вот он вполоборота поворачивается к нему:

– Никогда не отвергает государственный человек народного вопля, ибо глас народа есть глас Божий.

И опять он смотрит только на мальчиков, и голос его опять укоризненный, а движения руки быстрые.

– Какая польза гордиться титлами, приобретенными не по достоянию, когда во взорах каждого видны укоризна или презрение, хула или нареkanie, ненависть или проклятие? Для того ли должно искать отличий, чтобы, достигнув оных, страшиться бесславия?

Вильгельм не отрываясь смотрит на Куницына. Неподвижное лицо Куницына бледно.

Царь слушает прилежно. Он даже приложил белую ладонь к уху: глуховат. Его щеки слегка порозовели, глаза следят за оратором. Министр с кислым, значительным выражением смотрит на Куницына – и искоса на царя. Он хочет узнать, какое впечатление странная речь производит на его величество. Но царские глаза не выражают ничего, лоб нахмурен, а губы улыбаются.

И вдруг Куницын как бы невольно взглянул в сторону министра. Министр прислушивается к напряженному голосу профессора:

– Представьте на государственном месте человека без познаний, которому известны государственные должности только по имени; вы увидите, как горестно его положение. Не зная первоначальных причин благоденствия и упадка государств, он не в состоянии дать постоянного направления делам общественным, при каждом шаге заблуждается, при каждом действии меняет свои силы. Исправляя одну погрешность, он делает другую; искореняя одно зло, полагает основание другому; вместо существенных выгод стремится за посторонними.

Бледные, отвисшие щеки министра вспыхивают. Он закусывает губы и уже больше не смотрит на оратора. Барон Николаи в публике усиленно нюхает флакончик. Василий Львович сидит, приоткрыв рот, отчего лицо его необыкновенно глупеет.

Голос Куницына звучен; и он больше не смотрит на мальчиков, он смотрит в пустое пространство, чтобы не смотреть на министра и царя:

– Утомленный тщетными трудами, терзаемый совестью, гонимый всеобщим негодованием, такой государственный человек предается на волю случая или делается рабом чужих предрассудков. Подобно безрассудному пловцу, он мчится на скалы, окруженные печальными остатками многократных кораблекрушений. В то время, когда бы надлежало пользоваться вихрями грозных туч, он предается их стремлению и, усмотрев разверзающуюся бездну, ищет пристанища там, где море не имеет пределов.

Спокойный, прямой, как струна, молодой профессор садится. Щеки его горят. Министр смотрит косвенным взглядом на царя.

Вдруг рыжеватая голова склоняется с одобрением: царь вспомнил, что он первый либерал страны.

Он небрежно склоняется к министру и говорит громким шепотом:

– Представьте к отличию.

Министр, выражая на своем лице радость, склоняет голову.

В руках директора опять список, и опять список пляшет в этих руках. Их вызывают.

– Кюхельбекер Вильгельм.

Вилли, подавшись корпусом вперед, путаясь ногами, подходит к страшному столу. Он забывает церемониал и кланяется так нелепо, что царь подносит к блеклым глазам лорнет и с секунду смотрит на него. Только с секунду. Рыжеватая голова терпеливо кивает мальчику.

Барон говорит адмиралу:

– Это Вильгельм. Я его определил в Лусее.

Потом их ведут в столовую. Старшая императрица пробует суп.

Она подходит к Вильгельму сзади, опирается на его плечи и спрашивает благосклонно:

– Карош зуп?

Вильгельм от неожиданности давится пирожком, пробует встать и, к ужасу своему, отвечает тонким голосом:

– Oui, monsieur.⁴

Пушин, который сидит рядом с ним, глотает горячий суп и делает отчаянное лицо. Тогда Пушкин втягивает голову в плечи, и ложка застывает у него в воздухе.

Великий князь Константин, который стоит у окна с сестрой и занимается тем, что щиплет ее и щекочет, слышит все издали и начинает хохотать. Смех у него лающий и деревянный, как будто кто-то щелкает на счетах.

Императрица вдруг обижается и величественно проплывает мимо лицеистов. Тогда Константин подходит к столу и с интересом, оттянув книзу свою отвисшую губу, смотрит на Вильгельма; Вильгельм ему положительно нравится.

А Вильгельм чувствует, что сейчас расплчется. Он крепится. Его лицо с выкаченными глазами багровеет, а нижняя губа дрожит.

Все кончилось, однако, благополучно. Его высочество уходит к окну – щекотать ее высочество.

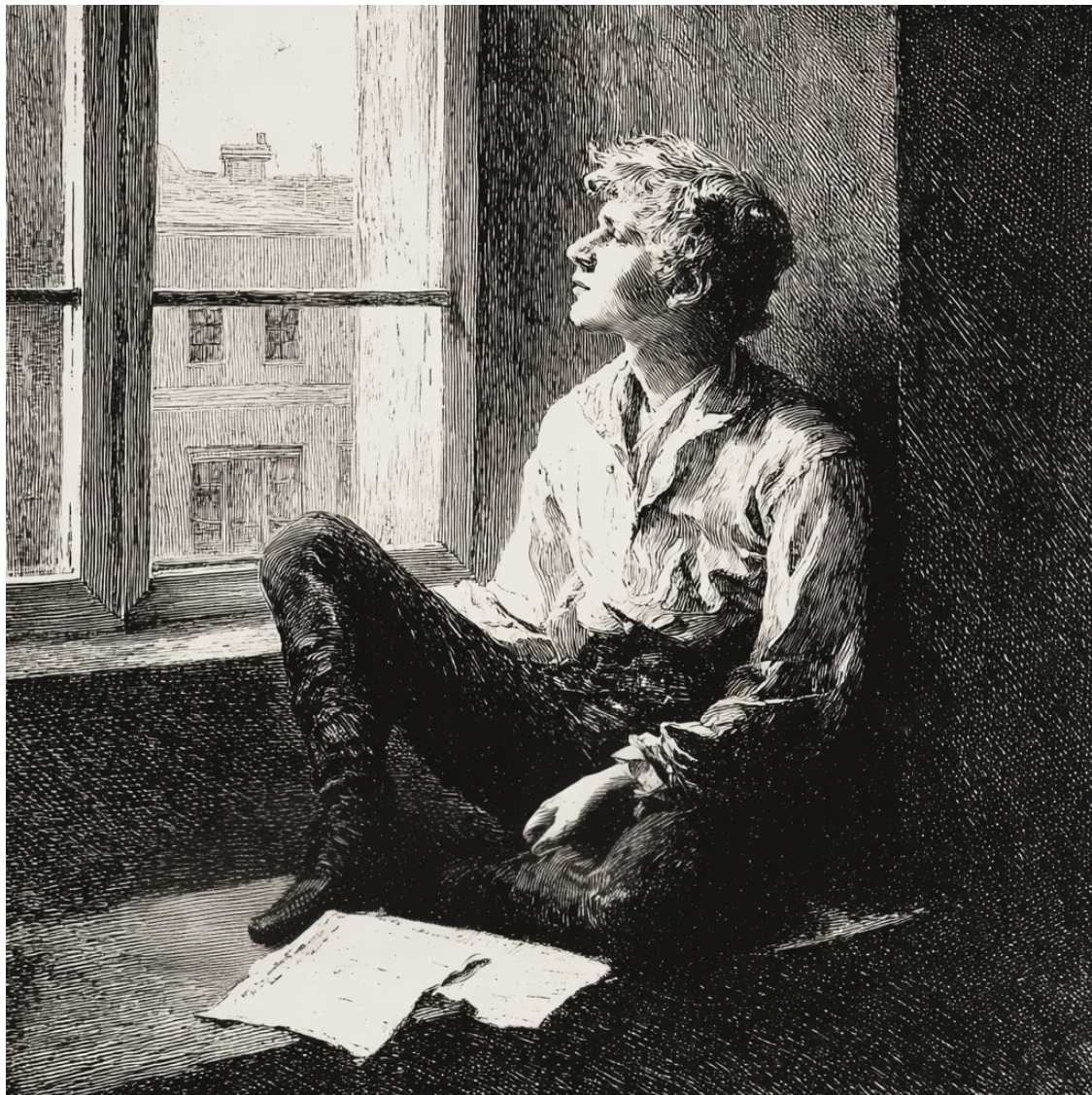
19 октября 1811 года кончается.

Вильгельм – лицеист.

⁴ Да, сударь (фр.).

Бехелькюкериада

I



«— Вы знаете, что такое *Бехелькюкериада*?

Бехелькюкериада есть длинная полоса земли, страна, производящая великий торг мерзейшими стихами; у нее есть провинция Глухое Ухо, и на днях она учинила большую баталию с соседнею державою *Осло-Доясомев*; последняя монархия, желая унижить первую, напала с великим криком на провинцию Бехелькюкериады, называемую Глухое Ухо, но зато сия последняя держава отомстила ужаснейшим образом...»

Вильгельм не читал дальше. Он знал, что драка его с Мясоедовым даром не пройдет, что «Лицейский мудрец» распишет ее, что опять целый день, визжа от радости, вырывая друг у друга листки, будут читать Бехелькюкериаду.

Лисичка-Комовский, маленький, аккуратный фискал, который жаловался Кюхле на товарищей, товарищам на Кюхлю и обо всем конфиденциально вечером доносил гувернеру, посмотрел на него с жадным участием.

– Илличевский сказал, – зашептал он, – что еще и не то будет, ей-богу, они собираются на тебя такое написать...

Вильгельм не дослушал. Он побежал к себе наверх и заперся.

Он сел за стол и закрыл лицо руками.

В Лицее его травили. Его глухота, вспыльчивость, странные манеры, заикание, вся его фигура, длинная и изогнутая, вызывали неудержимый смех. Но эту неделю его донимали как-то особенно безжалостно. Эпиграмма за эпиграммой, карикатура за карикатурой. «Глист», «Кюхля», «Гезель»!

Он вскочил, длинный, худой, сделал нелепый жест и вдруг успокоился.

У него оставались стихи, сочинительство. Ему не нужно людей. Он подумал об этом и вдруг почувствовал, что друг ему очень нужен. Вдохнув, он взял свою балладу об Альманзоре и Зульме, которую вот уже две недели писал, перечеркивал, переписывал и начинал снова. Он задумался. Показать разве Пушкину? – Нет, Француз непременно напишет эпиграмму, довольно он уже на него написал эпиграмм.

Странное дело, Кюхля не мог как следует, до конца рассердиться на Пушкина. Что бы Француз ни сделал, Кюхля ему все прощал. Сердился, бесновался, но любил. Когда Француз останавливался вдруг в углу залы и глаза его загорались, а толстые губы надувались и он мрачно смотрел в одну точку, – Вильгельм робко и с нежностью его обходил: он знал, что Француз сочиняет.

Его тянуло к нему.

Но Француз быстро на него вскидывал коричневые бегающие глаза и вдруг с хохотом начинал беготню и возню; самым важным для его самолюбия было вовсе не то, что он писал хорошо стихи, а то, что он бегал быстрее всех и ловчее всех перепрыгивал через стулья. Стихи Пушкина в Лицее любили за то же, за что и стихи Илличевского, – за гладкость. А Кюхле в них нравилось совсем другое. Кюхля говорил о стихах Илличевского: «Может быть, это хорошо, но это не стихи».

– А что такое стихи? – задумчиво спрашивал у него Дельвиг.

– У тебя, брат, небось лучше, – говорил ему, подмигивая, Пушкин.

Кюхля знал, что у него хуже, но писать, как Илличевский, не хотел. Пусть хуже – все равно, и он писал свои баллады и народные песни. Стихи его звали в Лицее клопштокскими. «Клопшток» – что-то толстое, что-то дубоватое, какой-то неуклюжий ком. Единственный человек в Лицее, который понимал Кюхлю, был, в сущности, Дельвиг. Этот ленивый, полусонный мальчик слушал по часам Кюхлю, когда тот диким голосом читал Шиллера. Тогда за очками у Дельвига пропадала та усмешечка, которой как огня боялся Кюхля.

Вильгельм принялся за балладу. В дверь постучались. Это был опять Комовский. В руках у него был все тот же номер «Лицейского мудреца». Вздыхая, но жадно смотря на Кюхлю – для него втайне было большим удовольствием видеть, как Кюхля свирепеет, – Лисичка сказал самым жалостным голосом:

– Вильгельм, ты всего не прочел, там еще есть.

Вильгельм развернул журнал: ту самую балладу, над которой он в полной тайне ото всех сидел уже вторую неделю, переписали почти целиком, а рядом бисерным почерком была написана на каждое слово ужасная критика!

Кюхля вскочил, рассвирепев.

– Кто украл у меня со стола балладу? – сказал он, задыхаясь. – Кто посмел красть у меня со стола балладу?

О балладе знали только Комовский да Дельвиг.

Лисичка съезжился, но с удовольствием посмотрел на Кюхлю.

– Кажется, Дельвиг, – сказал он, вздыхая.

– Дельвиг? – Кюхля выкатил глаза.

Это было самым гнусным предательством в мире – пусть бы это сделал Яковлев, кто угодно, – но Дельвиг!

Кюхля, не смотря на Комовского и не слушая его, побежал по коридору.

Он влетел в комнату Дельвига. Дельвиг лежал на кровати и смотрел в потолок. Так он пролеживал целыми днями – в Лицее сложились легенды о его лени.

– Виля?

– Мне с тобою нужно поговорить, – задыхаясь, проговорил Кюхля.

– Что с тобой? – спокойно спросил Дельвиг, – ты объелся, Вильгельм, или новую песню написал?

– Ты еще можешь так со мной говорить? – сказал Кюхля и шагнул к нему.

– А почему бы и нет? – Дельвиг зевнул. – Послушай, – сказал он, потягиваясь, – знаешь что, не ходи сегодня к директору в гости – Пушкин сегодня зовет гулять.

Он посмотрел на Вильгельма и вдруг удивился:

– Да что с тобой, Виля, ты болен, у тебя живот болит?

Вильгельм дрожал.

– Ты бесчестный человек, ты подлый человек, – сказал он, – я тебе больше не друг. Если бы ты не был Дельвиг, я бы тебя избил. И я тебя еще избью.

– Ничего не понимаю, – сказал Дельвиг, остолебнев.

– Ты притворялся мне другом, – завопил Вильгельм, – чтобы выкрасть мою балладу и надругаться надо мной. Это подлость интригана.

– Ты сошел с ума, – спокойно сказал Дельвиг и поднялся наконец с кровати. – Я одно понимаю, что ты сошел с ума. Забавно!

Когда что-нибудь его сильно задевало или ему становилось грустно, он всегда говорил: «забавно».

В дверь без стука вскочил Пушкин, волоча за собой Комовского.

Он был весел и сердит. Комовский отбояривался от него руками и ногами.

– Фискал опять подслушивает у дверей, – объявил он и дал подзатыльник Комовскому. – Если ты, Лиса, пойдешь об этом докладывать гувернеру, – обернулся он к нему, – он тебе, пожалуй, лишнюю порцию за обедом даст.

Увидев Вильгельма, стоящего со сжатыми кулаками, Пушкин подошел к нему и боком толкнул его. Вильгельм зарычал...

– Ого, – сказал Пушкин и захохотал.

Дельвиг вдруг загородил дверь.

– А ну, Лиса, иди сюда, – сказал он. – Кто это Вильгельму сказал, что я его балладу украл?

Глазки у Комовского забежали.

Пушкин насторожился.

– Понимаешь, – сказал ему Дельвиг, и голос его задрожал, – этот сумасшедший говорит, что я его балладу для «Мудреца» украл, пользуясь дружбой. Забавно!

Пушкин принял серьезный вид.

– Сейчас учиним суд, – сказал он важно, – тащу сюда типографщика. Лису арестовать.

Типографщик был Данзас, который переписывал журнал. Пушкин побежал и через минуту приволок с собой дюжего Данзаса.

Вильгельм стоял, ничего не понимая.

– Слушай, Обезьяна с тигром, – сказал Комовский Пушкину заискивающе, – мне нужно выйти, я сейчас приду.

Пушкина звали в Лицей и «Француз», и «Обезьяна с тигром». Второе произзвище было почетнее. Лиса вилял.

– Нет. Сейчас выясним дело. Данзас, говори.

Данзас, смотря прямо на всех, сказал, что три дня тому назад Лиса передал ему балладу Кюхли.

Комовский сжался в комочек.

Кюхля стоял, сбитый с толку.

На Комовского он забыл рассердиться. Тот, сжавшись, ускользнул из комнаты.

Тогда Пушкин, взяв за талию Кюхлю и Дельвига и толкнув их друг на друга, сказал повелительно:

– Мир.

II

Ах, этот мир был недолог. Этот день был несчастным днем для Кюхли.

Перед обедом Яковлев паясничал. Яковлев был самый любимый паяс в Лицее. Их было несколько, живых и вертлявых мальчиков, которые шутили, гримасничали и стали под конец лицейскими шутами. Но Миша Яковлев сделал шутовство тонкой и высокой профессией. Это был «паяс 200 номеров»; он передразнивал и представлял в лицах двести человек. Это была его гордость, это было его место в Лицее.

Черненький, живой и верткий, с лукавой мордочкой, он преображался у всех на глазах, когда давал «представление», становился то выше, то ниже, то толще, то тоньше, и, раскрыв рты, лицеисты видели перед собою то Куницына, то лицейского дьячка, то Дельвига. Он так подражал роговой музыке, что раз гувернер произвел специальное расследование, откуда у лицеистов завелись рожки. Так же подражал он флейте, а раз сыграл на губах добрую половину Фильдова ноктюрна – он был хороший музыкант. Впрочем, он натуральнейшим образом хрюкал также поросенком и изображал сладострастного петуха.

Сегодня был его бенефис. Паяс приготовил какой-то новый номер.

Все сбились в кучу, и Яковлев начал. Чтобы разойтись, он хотел, однако, исполнить несколько старых номеров. Он остановился и посмотрел на окружающих. Он ждал заказов.

– Есаков.

Есаков был тихий мальчик с румянцем во всю щеку, застенчивый, с особой походкой: он ходил вразвалочку, поматывая головой. Он очень любил Кюхлю и, после Дельвига, был первым его другом. Яковлев сжался, крикнул, стал меньше ростом, как-то особенно покорно начал поматывать головой и вдруг прошелся той особой застенчивой походкой, которая была у Есакова. Есаков улыбнулся.

– Броглио.

Это был быстрый номер. Яковлев скосил правый глаз, прищурил его, откинул назад голову и стал вертеть пальцами у борта мундира: он как бы искал ордена. (Броглио привезли недавно из Италии какой-то орден, он был итальянским графом.)

– Будри.

Яковлев выпятил вперед живот, щеки его надулись и обвисли, он нахмурил лоб, глаза полускрыл и начал тихонько завывать, потряхивая головой. Давид Иванович де Будри, учитель французского языка, любитель декламации, стоял перед лицеистами.

– Попа, попа!

– Дьячка с трелями!

Яковлев вытянул шею, глаза его стали унылыми и при этом быстро и воровато забегали по сторонам, щеки втянулись, и дьячок, очень похожий на лицейского, начал выводить «трели»:

– Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, по-милуй.

– Обезьяну.

Для Яковлева этот номер был легче всего. Он и сам был похож на обезьяну. Он присел на пол, раскорячив ноги, и начал быстро, не по-человечьи, почесывать под мышками. Глазки Яковлева забегали по всем сторонам с тем бессмысленным и спокойным выражением, которое он уловил у обезьяны странствующего итальянца, как-то заглянувшего в Лицей.

– Теперь новый.

– Новый, – сказал Яковлев, – это Минхен и Кюхля.

Вильгельм растерялся. Это была тайна, которую он доверил только Дельвигу: обручение с Минхен.

Он смотрел на Яковлева.

Яковлев стал выше ростом. Шея его вытянулась, рот приоткрылся, глаза выпучились. Вихляя и вертя головою, прошел два шага и, брыкнув ногой, остановился. Верная и злая копия Кюхли.

Лицеисты покатались со смеху. Пушкин хохотал отрывисто, лающим смехом. Дельвиг, забыв все на свете, стонал тоненьким голосом.

Яковлев присел теперь таким образом, как будто под ним была скамеечка. Он сделал губки бантиком, поднял глазки к небу, головку опустил набок и начал перебирать пальцами воображаемую косу, свесившуюся на грудь. Потом «Кюхля» тянет шею, как жираф, вытягивает губы и, свирепо вращая глазами, чмокает воздух, после чего, неожиданно брыкнув, отлетает в сторону, точно обжегшись. «Минхен» вытягивает губки самым жалостным образом, тоже чмокает воздух и, дернув головкой, закрывает личико руками.

Рев стоял в дортуаре.

Вильгельм, побагровев, двинулся было к Яковлеву, но этого уже ждали. Его быстро подхватили за руки, впихнули в его келью, приперли дверь.

Он завизжал и бросился на нее всем телом, он колотил в нее кулаками, кричал: «Подлецы!» – и наконец опустился на пол.

За дверью два голоса пели:

Ах, тошно мне
На чужой скамье!
Все не мило, все постыло,
Кюхельбекера там нет!
Кюхельбекера там нет —
Не глядел бы я на свет.
Все скамейки, все линейки
О потере мне твердят.

И тотчас дружный хор отвечал:

Ах, не скучно мне
На чужой скамье!
И все мило, не постыло,
Кюхельбекера здесь нет!
Кюхельбекера здесь нет —
Я гляжу на белый свет.
Все скамейки, все линейки
Мне о радости твердят.

Вильгельм не плакал. Он знал теперь, что ему делать.

III

Звонок к обеду.

Все бегут во второй этаж – в столовую.

Вильгельм ждет.

Он выглядывает из дверей и прислушивается. Снизу доносится смутный гул – все усаживаются.

Его отсутствия пока никто не заметил. У него есть две-три минуты времени.

Он сбегает вниз по лестнице, минует столовую и мчится через секунду по саду.

Из окна столовой его заметил гувернер. Перед Вильгельмом мелькает на секунду его изумленное лицо. Времени терять нельзя.

Он бежит что есть сил. Мелькает «Грибок» – беседка, в которой он только вчера писал стихи.

Вот наконец – и Вильгельм с размаху бросается в пруд.

Лицо его облепляют слизь и тина, а холодная стоячая вода доходит до шеи. Пруд неглубок и еще обмелел за лето. В саду – крики, топот, возня. Вильгельм погружается в воду.

Солнце и зелень смыкаются над его головой. Он видит какие-то радужные круги – вдруг взмах весла у самой его головы и голоса, крики.

Последнее, что он видит, – смыкающиеся круги радуги, последнее, что слышит, – отчаянный чей-то крик, кажется, гувернера:

– Здесь, здесь! Давайте багор!

Вильгельм открывает глаза. Он лежит у пруда на траве. Ему становится холодно.

Над ним наклонилось старое лицо в очках – Вильгельм узнает его, это доктор Пешель. Доктор подносит к его лицу какой-то сильно пахнущий спирт. Вильгельм дрожит и делает усилие что-либо сказать.

– Молчите, – говорит доктор строго.

Но Вильгельм уже сел. Он видит испуганные лица товарищей – рядом стоят Куницын и француз Будри. Куницын о чем-то вполголоса говорит Будри, тот неодобрительно кивает головой. Энгельгардт, директор, растерянно сложил руки на животе и смотрит на Кюхлю бесмысленным взглядом.

Кюхлю ведут в Лицей и укладывают в больницу.

Ночью в палату к нему прокрадываются Пушкин, Пущин, Есаков.

Есаков, застенчивый, румяный, улыбается, как всегда. Пушкин сумрачен и тревожен.

– Вильгельм, что ты начудил? – спрашивает его шепотом Есаков. – Нельзя так, братец.

Вильгельм молчит.

– Ты пойми, – говорит рассудительно Пущин, – если из-за каждой шутки Яковлева топиться, так в пруду не хватит места. Ты же не Бедная Лиза.

Вильгельм молчит.

Пушкин неожиданно берет Вильгельма за руку и неуверенно ее пожимает.

Тогда Вильгельм срывается с постели, обнимает его и бормочет:

– Я не мог больше, Пушкин, я не мог больше.

– Ну, вот и отлично, – говорит спокойно и уверенно Есаков, – и не надо больше. Они ведь тебя, братец, в сущности, любят. А что смеются – так пускай смеются.

IV

А впрочем, жизнь в Лицее шла обычным порядком.

Обиды забывались. Старше становились лицеисты. После истории с прудом один Илличевский издевался над Кюхлей по-прежнему. У Кюхли даже нашлись почитатели: Модя Корфф, аккуратный, миловидный немец, утверждал, что хоть стихи у Кюхли странные, но не без достоинств и, пожалуй, не хуже Дельвиговых.

Учился Кюхля хорошо, у него появилась новая черта – честолюбие. Засыпая, он воображал себя великим человеком. Он говорил речи какой-то толпе, которая выла от восторга, а иногда он становился великим поэтом – Державин целовал его голову и говорил, обращаясь не то к той же толпе, не то к лицеистам, что ему, Вильгельму Кюхельбекеру, передает он свою лиру.

У Кюхли была упорная голова: если он в чем-нибудь был уверен, никто не мог заставить его сойти с позиции. Математик Карцов записал о нем в табель об успехах, что он «основателен, но ошибается по самодовольствию». Хорошо его понимали трое: учитель французского языка Давид Иванович де Будри, профессор нравственных наук Куницын и директор Энгельгардт.

Куницын видел, как бледнел Кюхля на его уроках, когда он рассказывал о братьях Гракхах и о борьбе Фразибула за свободу. У этого мальчика, несмотря на его необузданность, была ясная голова, а его упорство даже нравилось Куницыну.

Директор Энгельгардт, Егор Антонович, был аккуратный человек; когда он говорил о «нашем милом Лицее», глаза его принимали едва ли не набожное выражение. Он все мог понять и объяснить и, когда встречал какое-нибудь неорганизованное явление, долго над ним бился, чтобы «определить» его; но если ему наконец удавалось это явление определить и человек получал свой ярлык – Энгельгардт успокаивался.

Все было в порядке, да и в каком еще порядке: весь мир был хорошо устроен. Сплошное добродушие было в основе всего мира.

Пушкин Энгельгардта ненавидел, сам не зная почему. Он разговаривал с ним, опустив глаза. Он грубо хохотал, когда у Энгельгардта случались неприятности. И Энгельгардт терялся перед этим неорганизованным явлением. Он в глубине души тоже ненавидел и – что было хуже всего – боялся Пушкина. Сердце этого молодого человека было пусто, ни одной искры истинного добродушия не было в нем, одна беспорядочная ветреность да какие-то звуки в голове, и при этом нерадивость, легкомыслие и – увы – безнравственность! За этого воспитанника Егор Антонович не отвечал ни в коем случае: он никак не мог подыскать для него ярлыка.

Но Кюхель, неорганизованный Кюхель (Егор Антонович звал Вильгельма «Кюхель», а не «Кюхля»: это было по-лицейски и все же немножко не так, как у лицеистов, у мальчиков), Кюхель, также подверженный крайностям и легкомыслию, – Егор Антонович понимал его. Да, да, Егор Антонович понимал этого безумного молодого человека из хорошей немецкой фамилии. Это был донкихот, крайне необузданный, но настоящая добродушная голова. Егор Антонович знал твердо, что Кюхель – неорганизованная голова, которую в жизни ожидают большие неприятности, – но притом добродушная голова. И этого было для него достаточно: добродушия, лежавшего в основе всего мира, Кюхель не портил.

Пушкина Энгельгардт боялся, потому что не мог понять, но Кюхельбекера он любил, потому что понимал его, – хотя оба они были неорганизованные существа.

Давид Иванович Будри был коротенький, толстенький старичок в засаленном, слегка напудренном парике, с черными острыми глазами, строгий и даже придиричивый. Он бодро и быстро бросал слова, шутил язвительно – и весь класс хохотал от его шуток. Но самым его большим наслаждением была декламация. Когда, полувзакрыв глаза, он декламировал «Сида»,

протяжно завывая, – лицеисты замирали на своих местах, что не мешало им после хохотать, когда Яковлев его передразнивал.

Кюхля относился к нему с особым чувством; он не любил его, но смотрел на Будри с непонятым удивлением, почти ужасом: Куницын сказал ему под большим секретом, что Давид Иванович родной брат Марата, того самого – его только заставили переменить фамилию. Маленький старичок ничем не напоминал того страшного, но чем-то для Кюхли обольстительного Марата, портрет которого он видел в какой-то книжке.

Однажды он решился и подошел тихонько к Давиду Ивановичу.

– Давид Иванович, – сказал он тихо, – расскажите мне, прошу вас, о вашем брате.

Де Будри живо обернулся и посмотрел на Кюхлю пронзительно.

– Мой брат, – спокойно сказал он, – был великий человек, он был, помимо всего, замечательный врач. – Де Будри задумался и улыбнулся. – Раз, желая предостеречь меня от развлечения юности – вы понимаете? – он повел меня в госпиталь и показал там язвы человечества. – Он пошевелил губами и нахмурился. – О нем много неверного пишут, – сказал он быстро и не смотря на Вильгельма. И вдруг, окинув его взглядом, добавил совершенно неожиданно: – А вы тщеславны, мой друг. Вы честолюбивы. Это вам не предвещает ничего хорошего.

Вильгельм посмотрел на него удивленно.

Де Будри был прав. Вильгельм недаром перед сном воображал какую-то воющую толпу.

V

Скоро для тщеславия Вильгельма случай представился. Это было в декабре четырнадцатого года. Приближался переводной экзамен. Переводные экзамены в Лицее были всегда большим событием. Наезжали из города важные персоны, и начальство перед экзаменами испытывало лихорадку честолюбия, стараясь блеснуть как можно более.

На этот раз по Лицею разнеслась весть, что приедет Державин. Весть подтвердилась.

Галич, учитель словесности, добрейший пьяница, приняв самый торжественный вид, сказал однажды на уроке:

– Господа, предупреждаю: на переводных экзаменах будет у нас присутствовать знаменитый наш лирик, Гаврила Романович Державин.

Он крикнул и особенно выразительно посмотрел при этом в сторону Пушкина:

– А вам, Пушкин, советую особенно принять это в соображение и встретить Державина пиитическим подарком.

Пушкин болтал в это время с Яковлевым. Услышав слова Галича, он неожиданно побледнел и закусил губу.

Кюхля, напротив, раскраснелся необычайно.

После классов Пушкин стал сумрачен и неразговорчив. Когда его спрашивали о чем-нибудь, отвечал неохотно и почти грубо. Кюхля взял его таинственно под руку.

– Пушкин, – сказал он, – как ты думаешь – я тоже хочу поднести Державину стихи.

Пушкин вспыхнул и выдернул руку. Глаза его вдруг налились кровью. Он не ответил Вильгельму, который, ничего не понимая, стоял разинув рот, – и ушел в свою комнату.

Назавтра все знали, что Пушкин пишет стихи для Державина.

Лицей волновался.

О Вильгельме забыли.

День экзаменов настал.

Пушкин с утра был молчалив и груб. Он двигался лениво и полусонно, не замечая ничего вокруг, даже наталкивался на предметы. Вяло пошел он в залу вместе со всеми.

В креслах сидели мундиры, черные фраки; жабо Василия Львовича Пушкина заметно выделялось своей белизной и пышностью – «шалбер» аккуратно ездил на экзамены и интересовался Сашей больше, чем брат Сергей Львович.

Дельвиг стоял на лестнице и ждал Державина. Надо было давно уже идти наверх, а он все стоял и ждал его. Певец «Смерти Мещерского» – увидеть его, поцеловать его руку!

Дверь распахнулась; в сени вошел небольшой сгорбленный старик, зябко кутаясь в меховую широкую шинель.

Он повел глазами по сторонам. Глаза были белесые, мутные, как бы ничего не видящие. Он озяб, лицо было синеватое с мороза. Черты лица были грубые, губы дрожали. Он был стар.

К Державину подскочил швейцар. Замирая, Дельвиг ждал, когда он начнет подниматься по лестнице. Эта встреча уже почему-то не радовала его, а скорее пугала.

Все же он поцелует руку, написавшую «Смерть Мещерского».

Державин сбросил на руки швейцара шинель. На нем был мундир и высокие теплые плисовые сапоги. Потом он повернулся к швейцару и, глядя на него теми же пустыми глазами, спросил дребезжащим голосом:

– А где, братец, здесь нужник?

Дельвиг оторопел. По лестнице уже звучали шаги – директор бежал встречать Державина. Дельвиг тихо поднялся по лестнице и пошел в залу.

Державина усадили за стол. Экзамен начался. Спрашивал Куницын по нравственным наукам. Державин не слушал. Голова его дрожала, он уставился мутным взглядом на кресла.

Жабо Василия Львовича привлекло его внимание. Василий Львович завертелся в креслах и отвесил ему глубокий поклон. Державин не заметил.

Так сидел он, дремля и покачиваясь, подперши голову рукой, отрешенный от всего, рассеянно смотря на белое жабо. Губы его отвисли.

Кюхля с непонятным содроганием смотрел на Державина. Это страшное, с сизым носом, старческое лицо напомнило ему как-то пруд, заросший тиной, в котором он хотел утопиться.

Начался экзамен по словесности.

Галич сказал, запинаясь:

– Яковлев, произнесите оду на смерть князя Мещерского, творение Гавриила Романовича Державина.

Державин снял руку со стола. Губы его сомкнулись. Он вглядывался белесыми глазами в лицеиста.

Яковлев был хороший чтец. Уроки де Будри не пропали для него даром. Он читал, немного завывая, не оттеняя смысла, но налегая на звучные рифмы.

Глагол времен! металла звон!

Твой страшный глас меня смущает.

Державин закрыл глаза и слушал.

Сей день иль завтра умереть,

Перфильев! должно нам, конечно.

Державин поднял голову и слегка кивнул не то с одобрением, не то отвечая на что-то себе самому.

– Кюхельбекер.

Вильгельм подошел к столу ни жив ни мертв.

– Отвечайте о сущности поэзии одической.

Вильгельм начал отвечать по учебнику Кошанского, Державин рукой остановил его.

– Скажите, – сказал он разбитым голосом, – что для оды более нужно, восторг пиитический или ровность слога?

– Восторг, – сказал Вильгельм восторженно, – восторг пиитический, который извиняет и слабости и падение слога и душу стремится к высокому.

Державин с удовольствием взглянул на него.

– Простите, – сказал не своим голосом Вильгельм, – дозволейте прочесть стихотворение, Гавриле Романовичу посвященное.

Галич смутился. Кюхельбекер ему ничего не сказал о своих стихах. Нет, это будет опасно. Вероятно, наворотил чего-нибудь.

– Первую строфу, если Гаврила Романович разрешит.

Державин сделал жест рукой. Жест был неожиданно изящный, широкий.

Вильгельм прочел дрожащим голосом:

Из туч сверкнул зубчатый пламень.

По своду неба гром протек,

Взревели бури – челн о камень;

Яряся, океан изверг

Кипящими волнами

Пловца на дикий брег.

Он озирается – и робкими очами

Блуждает ночи в глубине;
Зовет спутников, – но в страшной тишине
Лишь львов и ветра вопль несется в отдалении.

Он окончил и растерянно взглянул перед собой.
– Громко. Есть движение, – сказал Державин. – Огня бы больше. Державина, видно, читали, – добавил он, бледно улыбаясь.

Галич тоже улыбнулся, видя, что все сошло благополучно.

Кюхля вернулся на место, опустив голову.

– Пушкин.

Пушкин вышел вперед бледный и решительный.

Галич знал о «державинских» стихах Пушкина. Весь Лицей знал их наизусть.

Пушкин начал читать.

С первой же строки Державин пришел в волнение. Он впился глазами в мальчика. В белых глазах под нахмуренными бровями забегали темные огоньки. Крупные ноздри его раздулись. Губы приметно двигались, повторяя за Пушкиным рифмы.

В зале была тишина.

Пушкин сам слышал звонкий, напряженный свой голос и сам ему повиновался. Он не понимал слов, которые читал он, – звуки его голоса тянули его за собою.

Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир.

Голос звенит – вот-вот сорвется.

Державин откинулся в кресла, закрыл глаза и так слушал до конца.

Была тишина.

Пушкин повернулся и убежал.

Державин вскочил и выбежал из-за стола. В глазах его были слезы. Он искал Пушкина.

Пушкин бежал по лестницам вверх. Он добежал до своей комнаты и бросился на подушки, плача и смеясь. Через несколько минут к нему вбежал Вильгельм. Он был бледен как полотно. Он бросился к Пушкину, обнял его, прижал к груди и пробормотал:

– Александр! Александр! Горжусь тобой. Будь счастлив. Тебе Державин лиру передает.

VI

А над Илличевским Кюхля одержал победу.

Алеша Илличевский – по-лицейски Олосинька – был умный мальчик; он хорошо учился, дружил со всеми и ни с кем, был себе на уме.

В Лицее он считался великим поэтом.

И правда – «стихом он владел хорошо», – так по крайней мере говорил о нем учитель риторики Кошанский. Стихи у него были гладкие, без сучка без задоринки, почерк мелкий, косой, с нарядными росчерками. Писал он басни: этот род ему нравился как самый благоразумный; басни Илличевского были нравоучительны. Он и псевдоним себе придумал не без ехидности: «– ийший». Над Кюхлей он смеялся, Дельвигу покровительствовал, а Пушкина готов был считать равным, но втайне остро ему завидовал. Он был осторожен, расчетлив и в товарищеские заговоры никогда не вступал. Олосинька был первый ученик. После того как Кюхля тонул в пруду, Олосинька нарисовал в «Лицейском мудреце» очень хорошую картинку-карикатуру; на картинке было изображено, как Кюхлю с закинутым назад бледным лицом (нос на рисунке был у Кюхли огромный) тащат багром из воды. Кюхля карикатуру видел, но – странное дело – не рассердился: он слишком его не любил, чтоб на него сердиться.

Илличевский знал это и, в свою очередь, не переносил Кюхлю. Он сочинил на него довольно злую эпиграмму и назвал ее, не без изящества, «Опровержением»:

Нет, полно, мудрецы, обманывать вам свет
И утверждать свое, что совершенства нет.
На свете, в твари тленной,
Явился, Вилинька, и докажи собой,
Что ты и телом и душой
Урод пресовершенный.

Но пресовершенный урод с его уродливыми стихами больше привлекал Пушкина и Дельвига, чем совершенный Олосинька. И однажды урод одержал над ним победу. Он напал на Илличевского с пеной у рта.

– Я могу нанять учителя чистописания, – кричал он, наступая на Илличевского, – и он меня в три урока выучит писать, как ты!

– Сомневаюсь, – криво улыбнулся Олосинька.

– Ты никогда не ошибаешься, ты безупречен, ты без ошибок пишешь – дело, ей-богу, не важное. После Батюшкова разве трудно писать чисто?

– Ты вот доказываешь, что трудно, – язвил Олосинька и посматривал вокруг искательно, приглашая посмеяться.

Никто, однако, не смеялся.

– Лучше в тысячу раз писать с ошибками, чем разводить, как ты, холодную водицу! – кричал Кюхля. – Я не стыжусь своих ошибок. К черту правильность мертвеца! Пушкин, – обернулся он с неожиданным вызовом к Пушкину, – если ты пойдешь, как Илличевский, я от тебя отрекаюсь!

Все повернулись к Пушкину.

Пушкин стоял и покусывал губы.

Он был нахмурен и серьезен.

– Успокойся, Вилинька, – сказал он, – что ты развоевался? Каждый идет своим путем.

Он схватил Кюхлю за рукав и потащил его за собою.

– Он, кажется, обиделся? – спросил Кюхля Пушкина и тяжело вздохнул. – Пускай обижается.

VII

А между тем дух лицейский менялся. Старше ли они становились, или кругом что-то менялось, – но появилась в Лицее «вольность».

По вечерам шли разговоры о том, кто теперь правит Россией – царь, Аракчеев или любовница Аракчеева, крепостная его наложница, Настасья Минкина. И эпиграммы лицеисты писали уже не только на Кюхлю и на повара.

От войны 12-го года у лицеистов сохранилось воспоминание о том, как проходили через Царское Село бородатые солдаты, угрюмо глядя на них и устало отвечая на их приветствия. Теперь время было другое. Царь то молился и гадал у Криднерши, имя которой шепотом передавали друг другу дамы, то муштровал солдат с Аракчеевым, о котором со страхом говорили мужчины. Имя темного монаха Фотия катилось по гостиним. Ходили неясные толки о том, кто кого свалит – Фотий ли министра Голицына, Голицын ли Фотия, или Аракчеев съест их обоих. Что было бы лучше, что хуже, не знал никто. Начиналась глухая борьба и возня за места, деньги и влияния; все передавали фразу Аракчеева, сказанную среди белого дня при публике генералу Ермолову, которого он боялся и ненавидел:

– С вами, Алексей Петрович, мы *не перегрыземся*.

И это шло волнами, кругами по всей стране – и эти волны доходили и до Лицея.

Лицей был балованным заведением – так устроилось, что в нем не секли и не было муштры.

– Les Lycencies sont licenciéux,⁵ – говорил великий князь Мишель чужую остроту о них.

Но и Лицей скоро почувствовал на себе то, что чувствовали все.

Однажды царь вызвал Энгельгардта и спросил у него – благосклонно, впрочем:

– Есть ли у вас желающие идти в военную службу?

Энгельгардт подумал. Желающих было так мало, что, собственно говоря, их и совсем не было. Но ответить царю, который с утра до ночи занимался теперь муштрой в полках и таинственными соображениями об изменениях военной формы, – ответить ему просто было не так-то легко.

Энгельгардт наморщил лоб и сказал:

– Да чуть ли не более десяти человек, ваше величество, этого желают.

Царь важно кивнул головой:

– Очень хорошо. Надо в таком случае их познакомить с фрунтом.

Энгельгардт обомлел. «Фрунт, казарма, Аракчеев – Лицей пропал, – пронеслось у него в голове. – Конец нашему милому, нашему доброму Лицею». Он молча поклонился и вышел.

На совете Лицея, о котором знали все лицеисты, на цыпочках ходившие в эти дни, шло долго обсуждение.

Де Будри шурился.

– Значит, переход на военное положение?

Куницын, бледный и решительный, сказал:

– В случае муштры и фрунта – слуга покорный, подаю в отставку.

Энгельгардт наконец решил отшутиться. Это иногда удавалось. Шутка пользовалась уважением при дворе еще при Павле, который за остроумное слово награждал чинами. Великий князь Мишель из кожи лез вон, чтобы прослыть острословом.

Энгельгардт пошел к царю и сказал ему:

– Ваше величество, разрешите мне оставить Лицей, если в нем будет ружье.

⁵ Игра слов: лиценциаты – беспутники (фр.).

Царь нахмурился.

– Это отчего? – спросил он.

– Потому что, ваше величество, я никогда никакого оружия, кроме того, которое у меня в кармане, не носил и не ношу.

– Какое это оружие? – спросил царь.

Энгельгардт вынул из кармана садовый нож и показал царю.

Шутка была плохая и не подействовала. Царь уже свыкся с мыслью, что из своего окна он будет видеть лицейскую муштру. Это было для него легким отдыхом, летним развлечением. Его тянуло к этой игрушечной муштре, как когда-то его деда Петра III тянуло к игрушечным солдатам. Они долго торговались, и с кислой улыбкой царь наконец согласился, чтобы для желающих был класс военных наук. На том и поладили.

В другой раз, летом, царь вызвал Энгельгардта и холодно сказал ему, чтобы лицеисты дежурили при царице, – Елизавета Алексеевна жила тогда в Царском Селе.

Энгельгардт помолчал.

– Это дежурство, – сказал, не глядя на него, Александр, – приучит молодых людей быть развязнее в обращении.

Чувствуя, что сказал какую-то неловкость, он добавил торопливо и сердито:

– И послужит им на пользу.

В Лицее сообщение о дежурстве вызвало переполох. Все лицеисты разбились на два лагеря. Саша Горчаков – князь, близорукий, румяный мальчик с прыгающей походкой и той особенной небрежностью манер и рассеянностью, которые он считал необходимыми для всякого аристократа, – был за дежурства.

Надо было начинать карьеру, и как было не воспользоваться близостью дворца.

– Это удачная мысль, – сказал он снисходительно, одобряя не то царя, не то Энгельгардта.

Корф, миловидный немчик, который тянулся за Горчаковым, и Лисичка-Комовский решительно заявили, что новая должность им нравится.

– Я лакейской должности не исполнял и не буду, – спокойно сказал Пущин, но щеки его разгорелись.

– Дело идет не о лакеях, но о камер-пажах, – возразил Корф.

– Но камер-паж и есть ведь царский лакей, – ответил Пущин.

– Только подлец может пойти в лакеи к царю, – выпалил Кюхля и побагровел.

Корф крикнул ему:

– Кто не хочет, может не идти, а ругаться подлецом низко.

– Иди, иди, Корф, – улыбнулся Есаков, – там тебе по две порции давать будут. (Корф был обжора.)

– Если от нас хотят развязности в обращении, – заявил Пушкин, – лучше пусть нас научат ездить верхом. Верховая езда лучше, чем камер-пажество.

Горчаков считал совершенно излишним вмешиваться в спор. Пускай Корф спорит. Для Горчакова это было прежде всего смешно, *ridicule*. Он вскидывал близорукими глазами на спорящих и спокойно улыбался.

Обе партии пошли к Энгельгардту.

Энгельгардт, видя, что в Лицее есть какие-то партии, опять пошел к царю. Царь был на этот раз рассеян и почти его не слушал.

– Ваше величество, – сказал Энгельгардт, – придворная служба, по нашему верноподданнейшему мнению, будет отвлекать лицеистов от учебных занятий.

Царь, не слушая, взглянул на Энгельгардта и кивнул ему головой. Энгельгардт, подождав, поклонился и вышел.

Лицеистов забыли и оставили в покое.

Зато Яковлев, паяс, представлял уже не только дядька с трелями. Он однажды показал «загадочную картинку».

Начесав вихры на виски, расставив ноги, растопырив как-то мундир в плечах, он взглянул туманными глазами на лицеистов – и те обмерли: чучело императора!

В другой раз он показал с помощью ночного сосуда малоприличную картинку: как Модинька Корф прислуживает государыне.

Был в Лицее дядька Зернов, Александр Павлович, собственно не дядька, а «помощник гувернера» по лицейской табели о рангах, – редкий урод, хромой, краснокожий, с рыжей щетиной на подбородке и вдобавок со сломанным носом. И вот по всему Лицею ходила эпиграмма:

ДВУМ АЛЕКСАНДРАМ ПАВЛОВИЧАМ

Романов и Зернов лихой,
Вы сходны меж собою:
Зернов! хромаешь ты ногой,
Романов головою.
Но что, найду ль довольно сил
Сравненье кончить шпичем?
Тот в кухне нос переломил,
А тот под Аустерлицем.

Вскоре в Лицее произошли два политических случая: с Вильгельмом и с медвежонком.

VIII

Медвежонок был довольно рослый, с умными глазами, с черной мордой, и жил он в будке на лицейском дворе. Принадлежал он генералу Захаржевскому, управляющему царскосельским дворцом и дворцовым садом. Каждое утро лицеисты видели, как, собираясь идти в обход, генерал трепал по голове медвежонка, а тот порывался сорваться с цепи и пойти вслед за ним. Пушкин особенно любил медвежонка, часто с ним здоровался. Медвежонок подавал ему толстую лапу, смотрел в лицо Пушкину, прося сахара.

И вот однажды на глазах у всех лицеистов произошло событие, которое внесло медвежонка в политическую историю Лицея.

Медвежонок сбежал.

Генерал Захаржевский, проходя однажды мимо будки, к ужасу своему обнаружил, что будка пуста: медвежонок таки сорвался с цепи. Начали искать – безуспешно: ни на дворе, ни в саду медвежонка не было. Генерал потерял голову: в двух шагах был дворцовый сад – что, если... Генерал беспокоился.

И действительно, было из-за чего.

Царь прогуливался по саду. Расстегнув мундир, заложив руку за обшлаг жилета, он медленно шел по саду – лицеисты знали куда: он собирался к «милой Вельо», молоденькой баронессе, свидания с которой у Александра бывали регулярно в Александровском парке, в Баболовском дворце.

Дело было к вечеру.

У дворцовой гауптвахты играла полковая музыка. Лицеисты в дворцовом коридоре слушали ее.

Вдруг царь остановился. Кудрявый шарло, который всегда с ним гулял, отчаянно, пронзительно залаял. Царь шарахнулся и от неожиданности вскрикнул. Навстречу ему шел молодой медведь. Медведь встал на задние лапы. Он просил сахара. Шарло, визжа, набрасывался на него и отскакивал.

Тогда царь молча повернулся и побежал мелкой рысцой обратно ко дворцу. Медвежонок неторопливо заковылял вслед за ним.

Лицеисты разинув рты смотрели. Яковлев присел от восторга. Фигура молчаливо потрухивающего по дорожке императора поглотила его внимание. Следя за удаляющимся царем, он, приоткрыв рот, невольно поматывался из стороны в сторону.

Царь скрылся.

Вдруг со всех сторон с шумом и криком набежали сторожа, унтера, а впереди всех, с пистолетом в руке, бежал потрясенный генерал.

Выстрел – и медвежонок, глухо зарывчав, растянулся на земле.

Пушкин обернулся к товарищам:

– Один человек нашелся, да и то медведь.

Вечером Яковлев исполнил в лицах «злодейское покушение на жизнь его величества», представлял медведя на задних лапах, потрухивающего по дорожке царя и спасителя-генерала.

Таков был политический случай с медвежонком.

Происшествие, героем которого был Вильгельм, слегка напоминало происшествие с медвежонком.

Однажды Вильгельм гулял в саду; он вспоминал Павловск, Устиньку, глаза матери и ее сухонькие руки – и его потянуло домой. Навстречу ему попался молоденький офицер в щегольском сюртуке.

– Дядя Павел Петрович! Oncle Paul!⁶ – воскликнул Вильгельм, узнав материна кузена Альбрехта, того самого, который участвовал в семейном совете, когда Вилли определяли в Лицей. – Как, вы здесь? Не ожидал вас встретить.

Он обнял его.

Офицер холодно отстранил его. Вильгельм этого сгоряча не заметил.

– Давно ли вы здесь?

– Н-да, – промямлил офицер.

– В Павловске давно не бывали?

– Н-да, – процедил сквозь зубы офицер.

– Давно ли матушку видели?

– Н-да, – сказал офицер, со злостью глядя на Вильгельма.

Дядя Павел Петрович едва удостоивал его ответом. Вильгельм обиделся. Он принужденно и с достоинством откланялся. Офицер не ответил, посмотрел вслед удаляющемуся Кюхле, пожал плечами и продолжал путь.

Кюхля наткнулся на лицеистов, которые с ужасом на него смотрели.

– Что с тобой стряслось, Вильгельм? – спросил его Пущин. – Ты великих князей оставливаешь и, кажется, обнимаешь.

– Каких великих князей?

– Ты только что с Михаилом Павловичем объяснялся и за рукав его держал.

– Это Павел Петрович Альбрехт, – бормотал Вильгельм, – это дядя, какой это Михаил Павлович?

– Нет, – захохотал Пушкин. – Павел Петрович был папа, а это сынок – Михаил Павлович.

Таков был политический анекдот с Вильгельмом – медвежонок напал на царя, Вильгельм обнял великого князя.

⁶ Дядя Павел (фр.).

IX

Однажды Пушкин сказал Вильгельму:

– Кюхля, что ты сидишь сиднем? Пойдем сегодня к гусарам, они, право, о тебе слыхали и хотят с тобой познакомиться.

Кюхля согласился не без робости.

Вечером, сунув многозначительно на чай дежурному дядьке, они вышли за лицейские ворота и прошли к Каверину.

Окна у Каверина были раскрыты; слышна была гитара и смех. Высокий тенор пел: «Звук унылый фортепьяно».

Пушкина с Кюхлей встретили радостно.

Каверин, в расстегнутом ментике, в белоснежной рубашке, сидел в креслах. На коленях лежала у него гитара. Глаза Каверина были бледно-голубые, льняные волосы вились по вискам. Перед Кавериным стоял высокий черный гусар, смотрел мрачно на него в упор и пел высоким голосом романс. Он был слегка пьян. За столом было шумно, пьяно и весело.

Низенький гусар с широкой грудью встал, брэнча шпорами, из-за стола, бросился к Пушкину и поднял его на воздух. Пушкин, как обезьяна, вскарабкался ему на плечи, и гусар, не поддерживая его руками, побежал вокруг стола, прямо расставляя крепкие небольшие ноги.

– Уронишь! – кричали за столом.

Пушкин спрыгнул на стол между бутылок. Гусары захлопали.

– Пушкин, прочти свой ноэль.

И Пушкин, стоя на столе, начал читать:

Узнай, народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский и австрийский
Я сшил себе мундир.
О, радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;
Меня газетчик прославлял;
Я ел и пил, всех посещал —
И делом не замучен.

Черный гусар, который давеча пел романс, резко захохотал. Пушкин легко спрыгнул со стола. Ему налили вина.

Все чокнулись. Кюхле, как новому, налили огромную чашу пунша. Каверин закричал ему:

– За вольность, Кюхельбекер! До конца!

Вильгельм осушил чашу, и голова у него закружилась. Все казалось ему прекрасным. Неожиданно для самого себя он потянулся к Каверину и обнял его. Каверин крепко его поцеловал. Кругом засмеялись.

– Он влюблен, – сказал низенький гусар, подмигивая. – Я всегда их узнаю: когда влюбленный выпьет, тотчас целуется.

Черный гусар спросил у Пушкина:

– Это твой бонмо,⁷ что в России один человек нашелся, да и то медведь, – про вашего медвежонка?

– Мой, – самодовольно потрянул головой Пушкин.

⁷ Острота, словцо (фр. bon mot).

– Может, и человек найдется, – важно сказал черный гусар.

Пушкин поднял высоко стакан:

– За тебя и за медвежонка.

Черный гусар нахмурился.

Но Пушкин уже хохотал, вертелся вокруг него, щекотал его и тормошил. Он всегда был таким, когда немного смущался.

– Пьер, – кричал он Каверину, – Пьер, будь моим секундантом! Сейчас здесь будет дуэль.

Каверин засмеялся глазами, потом мгновенно сделал «гром и молнию»: перекосил лицо и открыл рот. «Гром и молния» был его любимый фокус.

Он вышел из-за стола. Пьяный, он держался на ногах крепко, но слишком прямо. В полу-улыбке приоткрылись его белые зубы. Так он прошелся вокруг комнаты легкой танцующей походкой. Остановился и запел грустно, и весело, и лукаво:

Ах, на что было огород городить,

Ах, на что было капусту садить.

И присел и начал выкидывать ногами.

Черный гусар забыл о Пушкине и тянулся к Каверину:

– Эх, Пьер, Пьер, душа ты моя геттингенская.

А Каверин подошел и хлопнул его по плечу:

– Тринкену задавай! Шамбертьен пей – хорош!

Кюхля охмелел. Ему было грустно необыкновенно. Он чувствовал, что сейчас расплачется.

– Влюблен, влюблен, – говорил, глядя на него, низенький широкоплечий гусар. – Сейчас плакать начнет.

Он незаметно подливал ему вина.

Кюхля плакал, говорил, что презирает вполне низкую вещественность жизни, и жаловался, что его никто не любит. Низенький на него подмигивал. Кюхля видел это, и ему было немного стыдно. Огни свеч стали желтыми – рассветало. За столом гусары задумались.

Пушкин уже не смеялся. Он сидел в углу и разговаривал тихо с бледным гусаром. Лоб гусара был высокий, глаза холодные, серые. Улыбаясь язвительно тонкими губами, он в чем-то разуверял Пушкина. Пушкин был сумрачен, закусывая губы, поглядывал на него быстро и пожимал плечами. Кюхля только теперь заметил гусара. – Это был Чаадаев, гусар-философ. Он хотел подойти к Чаадаеву поговорить, но ноги его не держали, а в голове шумело.

Пора было расставаться: Каверин налил всем по последнему стакану.

– За Кюхельбекера. Принимаем в нашу шайку. Выпьем за дело общее, *res publica*...⁸

Он выпил, потом вынул вдруг саблю из ножен и пустил ее в стену.

Клинок вонзился в дерево, трепеща. Каверин засмеялся счастливо.

На улице было прохладно и сыровато. Деревья аллеи были свежи и мокры. Хмель довольно быстро прошел. Было утро, легкая пустота в голове и усталость. Пушкин спросил Кюхлю:

– Правда хорошо?

– Слишком пьяно, – мрачно ответил Кюхля. – Они насмешники.

Он помнил, как низенький гусар подмигивал, и ему было тяжело. Пушкин остановился с досадой. Он посмотрел на бледное, вытянутое лицо друга и со злостью сказал, прижимая руку к груди:

– Тяжелый у тебя характер, брат Кюхля.

⁸ Общее дело (лат.); отсюда: республика.

Кюхля посмотрел на него с упреком. Пушкин говорил жестко, как старший:

– Люблю тебя, как брата, Кюхля, но, когда меня не станет, вспомни мое слово: ни друга, ни подруги не знать тебе вовек. У тебя тяжелый характер.

Вильгельм вдруг повернулся и побежал прочь от Пушкина. Тот растерялся, поглядел ему вслед и пожал плечами.

Больше к гусарам Кюхля не ходил.

Х

Последний месяц перед окончанием Лицея все чувствовали себя уже по-иному, жили на месяц вперед; появилась даже некоторая отчужденность. Князь Горчаков был изысканно обходителен со своими товарищами, его легкая прыгающая походка стала еще развязнее, он уже воображал себя в великосветской гостиной и, прищурясь, сыпал бонмо, репетируя свое появление в свете. Пушкин ходил встревоженный, Корф был деловит, и только обезьянка Яковлев был все тот же, паясничал и пел романсы.

В саду вечером разговаривали о будущем – о карьере.

– Ты, Лисичка, куда собираешься после окончания? – спросил покровительственно Корф. Корф все это время вертелся около Горчакова и перенял у него снисходительный тон.

– В Департамент народного просвещения, – пискнул Комовский. – Мне обещано место столоначальника.

– А я в юстицию, – сказал Корф. – В юстиции карьера легче всего.

– Особенно если польстить где надо, – сказал Яковлев.

Горчаков молчал. Все в Лицее знали, что он идет по иностранным делам. Связи у Горчакова были высокие.

– Эх вы, столоначальники, – сказал быстро Пушкин. – Я в гусары пойду. Охота за столом сидеть. А вот Илличевский, верно, по финансовой части пойдет.

Все захохотали. Илличевский был скуп. Он ответил обиженным голосом:

– Не всем же гусарами быть. Кой-кому придется и потрудиться.

Молчали только Пушин и Кюхля.

– А куда же ты, Пушин? – спросил Корф, все так же покровительственно.

– В квартальные надзиратели, – сказал Пушин спокойно.

Лицейсты засмеялись.

– Нет, серьезно, – приставал Корф, – ты куда определиться думаешь?

– Я и говорю серьезно, – ответил Пушин, – я иду в квартальные надзиратели.

Все засмеялись. Вильгельм с недоумением смотрел на Пушина.

– Всякая должность в государстве, – медленно сказал Пушин и обвел всех глазами, – должна быть почтенна. Нет ни одной презренной должности. Нужно своим примером показать, что не в чинах и не в деньгах дело.

Корф растерянно смотрел на Пушина, ничего не понимая, но Горчаков, прищурясь, сказал ему по-французски:

– Но, значит, и должность лакея почтенна, и, однако же, вы не захотели бы быть лакеем.

– Есть разные лакеи, – сухо ответил Пушин. – Лакеем царским почему-то не почитается быть обидным.

Горчаков усмехнулся, но промолчал.

– А вы? – обернулся он к Вильгельму несколько иронически. – Вы куда собираетесь?

Вильгельм посмотрел растерянно на Горчакова, Пушкина, Комовского и пожал плечами:

– Не знаю.

XI

8 июня 1817 года. Ночь. Никому не спится. Завтра прощание с Лицеем, с товарищами, а там, а там... Никто не знает, что там.

За стенами Лицея какой-то темный воздух, тонкая розовая заря горит, звуки, что-то сладкое и страшное, мелькает женское лицо.

Кюхля не спит, как все, он сидит один. Сердце его бьется. Глаза сухи. Неясный страх тревожит его воображение.

Стук в дверь. Входит Пушкин. Он не смеется, как всегда. Глаза его почему-то полузакрыты.

– Я тебе на память написал, Вильгельм, – говорит он тихо. – «Разлуку». – Голос его тоже другой, глуховат и дрожит.

– Прочти, Александр, – оборачивается к нему Кюхля и смотрит на него с непонятной тоской.

Александр читает тихо и медленно:

В последний раз, в сени уединенья,
Моим стихам внимает наш пенат.
Лицейской жизни милый брат,
Делю с тобой последние мгновенья.
Прошли лета соединенья;
Разорван он, наш верный круг.
Прости! Хранимый небом,
Не разлучайся, милый друг,
С свободой и Фебом!
Узнай любовь, неведомую мне,
Любовь надежд, восторгов, упоенья:
И дни твои полетом сновиденья
Да пролетят в счастливой тишине!
Прости! Где б ни был я: в огне ли смертной битвы,
При мирных ли берегах родимого ручья,
Святому братству верен я.
И пусть (услышит ли судьба мои молитвы?),
Пусть будут счастливы все, все твои друзья!

Он кончил; Кюхля закрыл глаза. Он заплакал, потом порывисто вскочил, прижал к груди Пушкина, который был ниже его на две головы, – и так они стояли с минуту, ничего не говоря, растерянные.

Кончился Лицей.

Петербург

I



«Добрый директор», Егор Антонович Энгельгардт, писал о Кюхле в письме к Есакову:

«Кюхельбекер живет как сыр в масле; он преподает русскую словесность в меньших классах вновь учрежденного благородного пансиона при Педагогическом институте и читает восьмилетним детям свои гекзаметры; притом исправляет он должность гувернера; притом воспитывает он Мишу Глинку (лентяй, но очень способный к музыке мальчик) и еще двух других; притом читает он французскую газету «Conservateur Impartial»;⁹ притом присутствует очень прилежно в Обществе любителей словесности и при всем этом еще в каждом почти номере «Сына отечества» срабатывает целую кучу гекзаметров. Кто бы подумал, когда он у нас в пруде тонул, что его на все это станет».

⁹ «Беспартийный консерватор» (фр.).

Тетка Брейткопф была тоже довольна. Когда длинный Вилли приезжал к ней в Екатерининский институт вечером, с литературного собрания, тетка смотрела на него с удовольствием и накладывала в кофе столько сливок, что рассеянный Вилли давился.

В самом деле, кто бы мог думать, что у Вилли окажутся такие способности, что мальчик будет в первых рядах, печататься, несмотря на свои *Dummheiten*,¹⁰ в лучших журналах и вести дружбу с Жуковским и еще там разными литературными лицами, которые, однако, иногда имеют значение!

Устинья Яковлевна могла наконец успокоиться, сама тетка Брейткопф поверила в Вилли. Молодой человек пойдет далеко, и вообще дети, благодаря Бога, устроены: младший, Миша, служит во флоте, в Гвардейском экипаже, и тоже подвигается по службе, Устинья вышла замуж за Глинку, Григория Андреевича. Григорий Андреевич хоть и со странностями, но любит Устиньку без памяти, и тетка непременно в этом же году поедет летом к ним в Смоленскую губернию в Закуп. Небольшая, но превосходная усадьба.

Вильгельм пил сливки с усердием.

Столь же усердно писал он стихи, столь же усердно воспитывал Мишу Глинку, который был отъявленным лентяем, и неуклонно появлялся во всех гостиных, возбуждая перемигивания. К прозвищу «Глист», которое дал ему когда-то Олосинька Илличевский, присоединилось теперь в гостиных еще «Сухарь». Последнее было даже обиднее, потому что глист бывает у всех национальностей, а сухари пекли по преимуществу немцы-булочники. Но задирать его боялись, потому что Сухарь сразу вспыхивал, глаза его наливались кровью, и неосторожному обидчику грозили большие неприятности. Этот Сухарь, помимо всего прочего, был еще и бретер. Даже с друзьями он был вспыльчив до беспамятства. Так, раз он вызвал на дуэль одного писателя, перед которым преклонялся. Писатель был живой, вертлявый человек, вечно кипевший, как кофейник. В пылу разговора он ничего не замечал, и раз, подливая всем вина, он забыл подлить Кюхле, который сидел за столом и жадно его слушал. Тотчас же Кюхля встал из-за стола и потребовал сатисфакции. Писатель вытаращил на него глаза и долго не мог понять, почему Кюхля развоевался. Насилу дело уладили. Понемногу создалась у Вильгельма репутация «отчаянного», и светские франты посмеивались над ним с осторожностью.

Жил Вильгельм в двух комнатах со своим Сенькой, которого теперь звали Семеном. Семен был веселый человек. Он тренькал на балалайке в передней, а Вильгельм, который писал стихи, стеснялся ему сказать, что он мешает. Служба у Семена была сравнительно легкая, потому что Вильгельм Карлович исчезал с утра, а приходил к ночи и, облачившись в халат, садился за стол – смотреть на звезды и писать стишки. Семен раз читал эти стишки, когда Вильгельма Карловича дома не было, и они ему очень понравились; были длинные, жалостные, про любовь и звезды, и задумчивого содержания. У Семена было обширное знакомство. Раз он прочел даже – в любовном случае – стихи Вильгельма Карловича за свои – ничего, сошло, понравились, хоть до конца и не пришлось дочитать. От Устиньи Яковлевны Семен имел приказание беречь Вильгельма Карловича и в случае чего писать ей. От писания Семен воздержался, но беречь – берег: он знал Вильгельма с детства и видел, что тот без него обойтись не может и пропадет в первый же день.

Скоро Вильгельму предложили перебраться в помещение Университетского благородного пансиона, у Калинкина моста. Ему предложили жить в мезонине, для того, чтобы там, на месте, воспитывать Мишу Глинку и Леву Пушкина, младшего брата Александра. Семен перебрался вместе с ним.

¹⁰ Глупости (нем.).

II

Александра Вильгельм видел редко. Пушкин завертелся бешено. Днем его видели скачущим на дрожках с какими-то сомнительными красавицами, вечером он бывал непременно в театрах, где простаивал в первых креслах, шутя и язвя направо и налево; или же дулся в карты до утра с гусарами. Эпиграммы его ходили по всему городу. Наконец от веселой жизни он слег и начал доканчивать «Руслана и Людмилу» – вещь, которая, по мнению Вильгельма, должна была произвести переворот в русской словесности. Кюхля и не думал осуждать друга. Он относился к нему, как влюбленный к девушке, которая шалит и вместе дичится – и наконец закружилась в вальсе, которого не остановишь. Когда Пушкин был болен, он каждый день ходил к нему. Пушкин, обритый, бледный и безобразный, кусал перо и читал Вильгельму стихи. Вильгельм слушал, приложив ладонь к уху (слух у него портился, что страшно беспокоило тетку Брейткопф, а самого его тревожило мало). Он наконец не выдерживал, вскакивал и лез целоваться к Пушкину. Тот смеялся не без удовольствия.

Как только Пушкин выздоровел, они поссорились.

Виноват был, собственно, Жуковский.

Кюхля привык уважать Жуковского. Он знал наизусть его «Светлану» и нередко меланхолично повторял из «Алины и Альсима»:

Зачем, зачем вы разорвали

Союз сердец?

Вам розно быть! – вы им сказали, —

Всему конец!

Жуковскому Кюхля в эту пору посвящал свои стихи и одобрения Жуковского жадно ждал. Поэтому он ходил к нему очень часто, приносил кипу своих стихов и зачитывал ими Жуковского.

Жуковский жил в уютной холостой квартире, ходил в халате, курил длинный чубук. С ним жил только слуга Яков, спокойный и опрятный, неопределенных лет, с серыми мышинными глазками, который неслышно похаживал по комнатам в мягких туфлях. Жуковский был еще не стар, но уже располнел бледной полнотой от сидячей жизни. Небольшие глаза его, кофейного цвета, заплыли. Он был ленив, мягок в движениях, лукаво вежлив со всеми и, когда ходил по комнате, напоминал сытого кота.

Одобрение свое давал не сразу, а подумав. Кюхля его чем-то безотчетно тревожил, а Жуковский не любил, когда его кто-нибудь тревожил. Поэтому принимал он Кюхлю не очень охотно.

Раз Пушкин спросил у Жуковского:

– Василий Андреевич, отчего вы вчера на вечере не были? Вас ждали, было весело.

Жуковский лениво отвечал:

– Я еще накануне расстроил себе желудок. – Он подумал и прибавил: – К тому же пришел Кюхельбекер, вот я и остался дома. Притом Яков еще дверь запер по оплошности и ушел.

Слово «Кюхельбекер» он при этом произнес особенно выразительно.

Пушкин захохотал. Он несколько раз повторил:

– Расстроил желудок... Кюххельбеккерр...

Вечером на балу он встретил Кюхлю и лукаво сказал ему:

– Хочешь, Виля, новые стихи?

Кюхельбекер жадно приложил ладонь к уху.

Тогда Пушкин сказал ему на ухо, не торопясь и скандируя:

За ужином объелся я,
Да Яков запер дверь оплошно.
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно и тошно.

Кюхля отшатнулся и побледнел. Удивительное дело. Никто так не умел смеяться над ним, как друзья, и ни на кого он так не бесился, как на друзей!

– За подлое искажение моей фамилии, – просипел он, выкатив глаза на Пушкина, – вызываю тебя. На pistolетах. Стреляться завтра.

– Подлое? – побледнел в свою очередь Пушкин. – Хорошо. Мой секундант Пушин.

– А мой – Дельвиг.

Они тотчас разыскали Пушина и Дельвига.

Пушин и слушать не хотел о дуэли.

– Кюхля сошел с ума, вспомнил старые шуточки, недостает только, чтобы он теперь в пруд полез топиться. Да и ты хорош, – сказал он Пушкину, но тут же проговорил: – И кюхельбекерно и тошно, – и захохотал.

А Вильгельм с ужасом слышал в это время, как один молодой человек, проходя мимо него и его не заметив, сказал другому:

– Что-то мне сегодня кюхельбекерно...

Стреляться! Стреляться!

Назавтра они стрелялись. Поехали на санях за город, на Волково поле, вылезли из саней. Стали в позицию.

Пушин сказал в последний раз:

– Пушкин! Вильгельм! Бросьте беситься! Пушкин, ты виноват, проси извинения – вы с ума сошли!

– Я готов, – сказал Пушкин, позевывая. – Ей-богу, не понимаю, чего Вилинька рассви-
репел.

– Стреляться! Стреляться! – крикнул Кюхля.

Пушкин усмехнулся, тряхнул головой и скинул шинель. Скинул шинель и Вильгельм.

Дельвиг дал им по pistolету, и они стали тянуть жребий, кому стрелять первому.

Первый выстрел достался Кюхле.

Он поднял pistolет и прицелился. Пушкин стоял равнодушно, вздернув брови и смотря на него ясными глазами.

Кюхля вспомнил «кюхельбекерно», и кровь опять ударила ему в голову. Он стал целить Пушкину в лоб. Потом увидел его быстрые глаза, и рука начала оседать. Вдруг решительным движением он взял прицел куда-то влево и выстрелил.

Пушкин захохотал, кинул pistolет в воздух и бросился к Вильгельму. Он затормошил его и хотел обнять.

Вильгельм опять взбесился.

– Стреляй! – крикнул он. – Стреляй!

– Виля, – сказал ему решительно Пушкин, – я в тебя стрелять не стану.

– Это почему? – заорал Вильгельм.

– А хотя бы потому, что pistolет теперь негоден все равно – в ствол снег набился.

Он побежал быстрыми, мелкими шажками к pistolету, достал его и нажал собачку – выстрела не было.

– Тогда отложить, – мрачно сказал Вильгельм. – Выстрел все равно за тобой.

– Ладно, – Пушкин подбежал к нему, – а пока поедем вместе, выпьем бутылку ай.

Он подхватил упирающегося Вильгельма под руку, с другой стороны подхватил Вильгельма Пушин; Дельвиг стал подталкивать сзади – и наконец Вильгельм рассмеялся:

– Что вы меня тащите, как барана?

В два часа ночи Пушкин отвез к себе охмелевшего Вильгельма и долго ему доказывал, что Вильгельм должен послать к черту все благородные пансионы и заниматься только литературой.

Вильгельм соглашался и говорил, что Александр один в состоянии понять его.

III

И в самом деле, учительство начинало надоедать Вильгельму. Дети вдруг ему опостытели, он все чаще запирался в кабинете, облачался в халат и сидел у стола, ничего не делая, бессмысленно глядя в окна. Это стало даже беспокоить Семена, который собирался написать Устинье Яковлевне письмо с предостережением, «как бы чего с Вильгельмом Карловичем не вышло».

В один из таких вечеров он вспомнил, что сегодня четверг, и поехал к Гречу. Он бывал на четвергах у Греча. Греч, плотный, небольшой человек в роговых очках, был приветливым хозяином. На своих четвергах он угощал всю петербургскую литературу, и как-то незаметно так случилось, что один гость отдавал Николаю Ивановичу стихи (подешевле), другой прозу (тоже не дорожась). Два центра были в гостиной Греча – одним был сам Греч, все время зорко посматривавший на слуг (когда слуга ловил такой Гречев взгляд, он сразу же мчался с оршадом либо шампанским именно к тому литератору, который Николаю Ивановичу был нужен), другим же центром был Булгарин. Он был круглый, плотный, на нем как бы лопалось платье, сшитое в обтяжку. Пухлые руки у него потели, он их беспрестанно потирал и, посмеиваясь, перебегал от одного гостя к другому. Когда Вильгельм приехал, у Греча было уже много народа.

С Булгариным разговаривали двое каких-то незнакомых. Один был прекрасно одет, строен, черные волосы были тщательно приглажены, узкое лицо изжелта-бледно, и небольшие глаза за очками были черны, как уголь. Говорил он тихо и медленно. Другой, некрасивый, неладно сложенный, с пышно взбитыми на висках темными волосами, с задорным коком над лбом, с небрежно повязанным галстуком, был быстр, порывист и говорил громко.

Греч подвел к ним Кюхлю.

– Кондратий Федорович, – сказал он человеку с коком, – рекомендую, тот самый Вильгельм, о котором вы давеча спрашивали. (Кюхля подписывал свои стихи «Вильгельм».)

Кондратий Федорович? Тот, который написал и напечатал послание «К Временщику», где печатно самому Аракчееву сказал: «Твоим вниманием не дорожу, подлец!»

Кюхля боком рванулся вперед и судорожно пожал руки Рылееву.

Тотчас второй, в очках, с недоумением и испугом откинулся назад в креслах.

– Александр Сергеевич Грибоедов, – отрекомендовал хозяин.

Грибоедов с опаской пожал руку Вильгельму и шепнул на ушко Гречу совсем тихо:

– Послушайте, это не сумасшедший?

Греч рассмеялся:

– Если хотите – да, но в благородном смысле.

Грибоедов посмотрел поверх очков на Кюхельбекера.

– И сколько времени будет это продолжаться, – говорил Рылеев, и ноздри его раздувались, – этот вой похоронный в литературе? Жеманство это? Плач по протекшей юности безостановочный? Вы посмотрите, Вильгельм Карлович, – он схватил за руки Кюхлю, который даже не знал, в чем дело, – что в литературе творится. Элегии, элегии без конца, мадригалы какие-то, рондо, чтоб их дьявол побрал, игрушки, безделки – и все это тогда, когда деспотизм крепчает, крестьяне рабы, а Аракчеев и Меттерних шпицрутенами Европу хлещут.

– Да, – потирал потные руки Булгарин, – вы все правду, бесценный мой друг, говорите, ни одного словечка фальши, но скажите мне, мой дорогой друг, – Булгарин прижал обе руки к груди и склонил голову набок, – скажите, где лекарство? Да, да, да, где лекарство от этого?

Он посмотрел на Рылеева ясными выпуклыми глазами; глаза были веселые, с неуловимой наглостью.

– Лекарство есть, – медленно сказал Грибоедов, – надобно в литературе произвести переворот. Надобно сбросить Жуковского с его романтизмом дворовым, с его вздохами паркет-

ными. Простонародность – вот оплот. Язык должен быть груб и неприхотлив, как сама жизнь, только тогда литература обретет силу. А не то она вечно в постели валяться будет.

Вильгельм насторожился. Новые для него слова раздались. Он вскочил, что-то хотел сказать, раскрыл рот, потом посмотрел на Рылеева и Грибоедова.

– Разрешите мне у вас побывать, – сказал он в волнении, – у вас, Кондратий Федорович, и у вас, Александр Сергеевич. Мне обо многом с вами поговорить надобно.

И, не дожидаясь ответа, раскланялся неловко и отошел. Рылеев пожал плечами и улыбнулся. Но Грибоедов, наклонив вперед голову, задумчиво смотрел из-за очков на забившегося в угол Вильгельма.

После этого вечера Вильгельм часто ездил к Рылееву и Грибоедову. В особенности к последнему, потому что Грибоедов должен был скоро уехать в Персию. В два месяца они подружились.

Они были однолетки, но Вильгельм чувствовал себя гораздо моложе. Сухой голос и невеселая улыбка Грибоедова были почти старческие. Но иногда, особенно после какой-нибудь слишком желчной фразы, он улыбался Вильгельму почти по-детски. Вильгельм влюбленными глазами глядел, как Грибоедов неторопливо двигается по комнате. У Грибоедова была эта привычка – он беспрестанно ходил во время разговора по комнате, как бы нащупывая твердое место, куда бы можно стать безопаснее. Движения его были изящные и легкие.

– Александр, – спросил однажды Вильгельм о том, что давно уже было у него на душе, – отчего ты с Булгариным так дружен? Он, конечно, журналист опытный. Но он ведь шут, фальстаф, существо низменное.

– За то и люблю, – отвечал, улыбаясь, Грибоедов. – Я людей, дорогой друг, не очень уважаю. А Фаддей весь тут, как на ладони. Калибан, и вся недолга. Почему бы мне с ним и не дружить?

Вильгельм покачал головой.

А с Рылеевым было совсем по-иному. Рылеев взрывался ежеминутно. Словами он сыпал, как пулями, и, нервно наклонясь вперед, спрашивал блестящими глазами собеседника, согласен ли он, вызывал на спор. Он не любил, когда с ним соглашались быстро и охотно. Он оживал только в споре, но спорить долго с ним было невозможно. Самые звуки его голоса убеждали противника.

Были имена, при которых его лицо подергивалось, – так не мог он слышать имени Аракчеева. Так же оно подергивалось, когда он говорил с Вильгельмом о крестьянах, которых изнуряют барщиной, и солдатах, которых засекают насмерть.

Тихая злость Грибоедова действовала на Кюхлю почти успокаивающе, вспышки Рылеева волновали его. Он от Рылеева уходил, теряя голову.

Однажды у Рылеева Кюхля застал Пушкина. Пушкин о чем-то неторопливо и внушительно говорил Рылееву вполголоса. Тот, не отрываясь, молча, смотрел в глаза Пушкину. Завидя Кюхлю, Пушкин сразу замолчал, а Рылеев, встряхнув головой, заговорил о том, что и «Сын отечества» и «Невский зритель» просто никуда не годятся и что надо основывать собственный журнал. Вильгельму показалось, что от него что-то скрывают.

IV

С некоторых пор тетка Брейткопф, когда Вильгельм к ней приезжал, не так уж радовалась, как прежде. И хотя сливок она ему накладывала в кофе по-прежнему в обилии, вид Вильгельма ее начинал смущать. Вильгельм изменился – это было ясно для тетки Брейткопф. Он что-то опять затевал, чем-то был встревожен. Тетка Брейткопф, положив руки на стол и смотря величаво на Вильгельма, ломала голову, что с ним такое творится. Вильгельм рассеянно пил ее кофе, рассеянно уничтожал печенье и отвечал тетке невпопад. Наконец тетка решила: Вильгельм влюблен, и нужно ожидать глупостей.

Тетка была права: Вильгельм был действительно влюблен, и от него действительно можно было ожидать глупостей.

Влюбился он сразу, в один вечер, и, как ему показалось, навсегда.

Однажды его зазвал Дельвиг в салон к Софье Дмитриевне Пономаревой.

Вильгельм слышал уже про этот веселый салон и про красивую хозяйку. Салон оказался небольшой уютной гостиной; за круглым столом, заваленным книгами, тетрадями и листами, в матовом свете лампы сидели собеседники. Кюхля сразу заметил большое лицо Крылова с нависшими бровями, такое неподвижное, будто он отроду слова не вымолвил; здесь же сидел и Греч, в своих роговых очках имевший вид не то канцеляриста, не то профессора; маленький человек с розовым лицом и масляными глазками – Владимир Панаев, идилий которого терпеть не мог Кюхля; одноглазый Гнедич и белобрысый, с широким веснушчатым лицом, баснописец Измайлов. На Кюхлю и Дельвига они обратили мало внимания. Вообще в гостиной была простота отношений: входили, уходили, кто с кем хотел, тот с тем и разговаривал. Да и обстановка была простая, и мало ее было – для свободы движения. Кюхля сразу почувствовал себя легко, весело и спокойно. Дельвиг подвел его к хозяйке. Софи сидела на большом диване, рядом с ней человек пять литераторов, которые за ней безбожно ухаживали. Ей было всего лет двадцать, она была очень хороша – ямки на щеках, небольшие темные глаза с косым разрезом – китайские – и родинка над верхней губой. Она говорила быстро, весело и много смеялась. На Кюхлю она сразу же произвела необыкновенное впечатление. Он не заметил, как наступил на лапу большого пса, который сидел в ногах у Софи. Пес зарычал, оскалил зубы и бросился на Вильгельма. Услышав его рычание, из другого угла комнаты бросилась на Вильгельма вторая собака. Произошла суматоха.

– Гектор, Мальвина! – кричали кругом.

Софи от смеха не могла выговорить ни слова. Наконец она кое-как извинилась перед Кюхлей. Дельвиг сел подле хозяйки, он, видимо, был своим человеком. Сел он очень близко к Софи и, как Вильгельм заметил, прижался к ней довольно нескромно. Вильгельму это показалось немного странно, но Софи, по-видимому, считала это совершенно натуральным. К большому своему неудовольствию, Кюхля увидел Олосиньку Илличевского, который в это время входил в гостиную и которого хозяйка встретила радостно. Алексей Дамианович за три года успел приобрести вид человека основательного, отращивал брюшко, и лицо его уже было зеленовато-бледное, как по большей части у всех петербургских чиновников.

Софи затормозила Кюхлю певучими быстрыми вопросами, на которые он отвечал припугнуто и робко.

К концу вечера Кюхля сидел унылый, мало говорил и мрачно смотрел на Дельвига и Илличевского, весьма нескромно ухаживавших за Софи. На остальных он совсем не обращал внимания и забыл даже заинтересоваться Крыловым. Уходил он вместе с Измайловым. Дельвиг и Илличевский засиделись. Толстый и неуклюжий Измайлов в синем долгополом сюртуке рядом с высоким и тонким Кюхлей в черном фраке, удаляющиеся рядком из гостиной, были

забавны. Софи засмеялась им вслед. Кюхля услышал этот смех и болезненно поморщился. Измайлов взглянул на него сквозь серебряные очки и лукаво подмигнул.

В сенях они наткнулись на странную картину: двое слуг не впускали в гостиную мертвеца пьяного человека. Одежда пьяного была в беспорядке: галстук развязан, ворот рубахи расстегнут и залит вином. Пьяный посмотрел на Измайлова и Вильгельма мутными глазами.

– А, шелкоперы, – сказал он, – насиделись?

И потом, как бы сообразив что-то, забормотал вдруг учтиво:

– Милости прошу, милости прошу.

Вильгельм разинул рот, но Измайлов увлек его на улицу.

– Софьи Дмитриевны супруг, – сказал он, улыбаясь. – Она его в черном теле держит, вот он и попивает, бедняга.

Вильгельм пожал плечами. Все в этом доме было необычайно.

Он провел бессонную ночь, а на завтра послал Софи цветы. На третий день он к ней поехал. Софи сидела одна. Кюхлю она тотчас приняла, пошла ему навстречу, взяла за руку и усадила рядом с собой на диван. Потом сбоку на него посмотрела:

– Вильгельм Карлович, я вам рада.

Вильгельм сидел не шевелясь.

– Отчего вы так всех дичитесь? Говорят, вы нелюдим и мизантроп ужасный? Альсест?

– О нет, – пробормотал Кюхля.

– Про вас говорят тысячу ужасных вещей – вы дуэлист, вы опасный человек. Право, вы, кажется, страшный человек.

Кюхля смотрел в ее темные глаза и молчал, потом он взял ее руку и поцеловал.

Софи быстро на него посмотрела, улыбнулась, поднялась и потащила к столу. Там она развернула альбом и сказала:

– Читайте и пишите, Вильгельм Карлович, а я на вас буду смотреть.

Не сознавая, что он делает, Вильгельм вдруг обнял ее.

– О, – сказала удивленно Софи, – но вы, кажется, совсем не такой мизантроп, как мне говорили.

Она рассмеялась, и рука Вильгельма упала.

– Вы меня заставляете испытывать страдания... – бормотал Вильгельм.

– Мне о вас Дельвиг намерен, – быстро меня разговор, сказала Софи, – целый вечер рассказывал.

– Что же он обо мне говорил?

– Он говорил, что вы человек необыкновенный. Что вы будете когда-нибудь знамениты... и несчастливы, – добавила Софи потише.

– Не знаю, буду ли я знаменит, – сказал Вильгельм угрюмо, – но я уже сейчас несчастлив.

– Пишите же, Вильгельм Карлович, в альбом: вы несчастливы, а в будущем знамениты – это для альбома очень интересно.

Вильгельм с досадой начал перелистывать альбом.

На первой странице аккуратным почерком Греча было написано:

IV. СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ НОВЫЕ КНИГИ

1818

София Дмитриевна Пономарева, комической, но и чувствительной роман с маленьким прибавлением. Санктпетербург, с малую осьмушку, в типографии мадам Блюмер, 19 страниц.

(Начав читать сию книжку, я потерял было терпение: мысли автора разбегаются во все стороны, одно чувство сменяет другое, слова сыплются, как снежинки в ноябре месяце; но все

это так мило и любезно, что невольно увлекаешься вперед; прочитаешь книжку и скажешь: какое приятное издание! Жаль только, что в нем остались некоторые типографские ошибки!)

– Как? – спросил с негодованием Вильгельм. – А разве он читал эту книгу? И что за «прибавление»?

– Дорогой мизантроп, – сказала Софи, покраснев, – вы становитесь, кажется, дерзки. У вас вовсе нет терпения.

– Остроумие Николая Ивановича канцелярское, – пробормотал Вильгельм.

На второй странице угловатым старинным почерком было написано:

Чем прекраснее цветочек,
Тем скорее вянет он.
Ах, на час, на мал часочек
Нежный Сильф в него влюблен.
Как увянет,
Он престанет
В нем искать утех трон!

Под этим стихотворением, игривым и неуклюжим, как пляшущий медведь, стояло имя одного знаменитого ученого.

Вдруг в глазах Кюхли потемнело. Пиитический кондитер, Владимир Панаев, написал Софи нескромные стишки.

Блажен, кто на тебя взирать украдкой смеет;
Трикрat блаженнее, кто говорит с тобой;
Тот полубог прямой,
Кто выманить, сорвать твой поцелуй сумеет.
Но тот завиднейшей судьбой,
Но тот бессмертьем насладится,
Чьей смелою рукой твой пояс отрешится!

– А вы зачем этого куафера к себе в альбом впустили? – спросил грубо Вильгельм и побледнел.

– Альбом открыт для всех, – сказала Софи, но посмотрела в сторону.

И вот наконец парадный почерк самого Олосиньки Илличевского:

При виде вас, нахмура лица,
Все шепчут жалобы одни:
Женатые – зачем не холосты они,
А неженатые – зачем вы не девица.

Кюхля захлопнул альбом.

Тогда Софи своими белыми пальцами разогнула его упрямо посередине и сказала настойчиво:

– Пишите.

Вильгельм посмотрел на нее и решился.

Он сел и написал:

I was well, would be better, took physic and died.¹¹

¹¹ Я чувствовал себя хорошо, мог бы чувствовать себя еще лучше, принял лекарство и умер (англ.).

Потом встал, шагнул к Софи и обнял ее.

V

Почва уходила из-под ног Вильгельма. Часто ночью он вскакивал, садился на постели и смотрел, выкатив пустые глаза, на спящий как бы в гробу Петербург. Хладная рука сжимала его сердце и медленно – палец за пальцем – высвобождала.

То была Софи? Или просто хандра гнала его от уроков, от тетки Брейткопф, от журналов?

Он не знал. Да и все кругом начинало колебаться. Подземные толчки потрясали жизнь, и Вильгельм их болезненно ощущал...

Каждый день эти толчки раздавались во всей Европе, во всем мире.

В 1819 году блеснул кинжал студента Занда, и кинжал этот поразил не одного шпиона Коцебу, вся Европа знала, что Зандов удар падает на Александра и Меттерниха: Коцебу был русским шпионом, которому Александр, с благословения Священного союза, отдал под наблюдение немецкие университеты, единственное место, где еще отсиживались немцы от Меттерниха, в длинных руках которого плясал, как картонный паяс, русский царь.

Вслед за кинжалом Занда засверкал стилет Лувеля: в феврале был убит герцог Беррийский. Волновало не только то, что убит герцог, поражала самая картина убийства; в гостиных передавали подробности: весь французский двор был в опере; при выходе один человек властно растолкал толпу, спокойно взял герцога за ворот и вонзил ему в грудь стилет, на конце изогнутый. Его схватили. Это был Лувель. На допросе он заявил надменно, что стремится истребить все племя Бурбонское.

Троны королей снова закачались. Среди многолюдной толпы, чуть не на глазах Людовика Желанного, проткнули наследника престола.

В Испании дело было, пожалуй, еще серьезнее: король, трусливый и загнанный, как заяц, уступал кортесам шаг за шагом. Министром юстиции по требованию народа был сделан бывший каторжник, сосланный самим королем на галеры. Народ, предводимый вождями Квиругой и Риэго, глухо волновался и требовал голов, а король выдавал одного за другим прежних своих куртизанов.

В мае 1820 года узнали подробности казни Занда. Он умер, не опустив глаз перед смертью. Народ макал платки в его кровь, уносил кусочки дерева с эшафота, как мощи. Казнь Занда была вторым его торжеством: правительство боялось его казнить, экзекуция была произведена ранее обыкновенного часа, его казнили крадучись. И все-таки перед эшафотом теснилась тысячная толпа, а студенты обнажили головы, когда Занд спокойно взошел на помост, и запели ему на прощанье гимн вольности.

15 сентября 1820 года корабль, пришедший из Лиссабона в Петербург, привез известие, что в Португалии революция. Тамошние жители приняли конституцию испанскую.

В Греции началась война за освобождение от ига Турции. Дух древней Эллады воскрес в новых этериях.

Таков был календарь землетрясений европейских.

Почва колебалась не только под ногами Вильгельма. Пушкин, как бомба, влетал к нему в комнату, тормошил Вильгельма, быстро говорил, что нужно всем бежать в Грецию, читал злые ноэли на царя, целовал Вильгельма и куда-то убегал. Ему не сиделось на месте. Он пропадал по театрам, у гусаров, волочился, и, глядя на друга, Вильгельм удивлялся, как это Пушкин всюду успевает, как он не разорвется от постоянного кипения. Его запретные стихи ходили по всей России, их читали захлебываясь, дамы списывали их в альбомы, они обходили Россию быстрее, чем газета.

И наконец Пушкина метнуло. Раз, сидя в опере, он небрежно протянул соседу портрет Лувеля, на котором четко его рукой было написано: «Урок царям». Портрет пошел гулять по

театру. Высокий черный человек в поношенном фраке, до которого портрет дошел, сунул его в карман и шепотом спросил у соседа:

– Кто писал?

Сосед пожал плечами и отвечал, улыбаясь:

– Должно быть, Пушкин-стихотворец.

Высокий черный человек дождался конца действия, а потом исчез тихо и незаметно. Это был Фогель, главный шпион петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича, его правая рука.

Назавтра граф Милорадович имел продолжительную конфиденцию с царем.

Царь отдыхал в Царском Селе. После доклада Милорадовича царь вышел в сад и в саду столкнулся с Энгельгардтом. Выражение его лица было брезгливое и холодное. Он подозвал Энгельгардта и сказал ему:

– Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает, он ведет себя крайне дерзко.

Энгельгардт пришел в ужас и тотчас написал Дельвигу и Кюхле письма, в которых заклинал их не знаться с Пушкиным. «Благоразумие, благоразумие, добрый Вильгельм», – писал Энгельгардт; он перепугался страшно и сам хорошенько не знал, за кого: то ли за Лицей, то ли за самого себя.

Пушкина в мае сослали – хоть не в Сибирь, так на юг.

Добрый же Вильгельм утешил Энгельгардта. Егор Антонович развернул в июне новый номер «Соревнователя просвещения и благотворения», журнала почтенного, и с удовольствием убедился, что Кюхля и летом не перестает работать: на видном месте было напечатано Кюхлино стихотворение под названием «Поэты».

Егор Антонович надел очки и начал читать. По мере того как он читал, рот его раскрылся, а лоб покрывался потом.

Кюхля писал:

О Дельвиг, Дельвиг! что награда
И дел высоких и стихов?
Таланту что и где отрада
Среди злодеев и глупцов?

.....

В руке суровой Ювенала
Злодеям грозный бич свистит
И краску гонит с их ланит,
И власть тиранов задрожала.

.....

О Дельвиг! Дельвиг! что гоненья?
Бессмертие равно удел
И смелых, вдохновенных дел,
и сладостного песнопенья!
Так! не умрет и наш союз,
Свободный, радостный и гордый,
И в счастье и в несчастье твердый,
Союз любимцев вечных муз!

И наконец, в скромном «Соревнователе просвещения и благотворения» обыкновенным типографским шрифтом было напечатано:

И ты – наш юный Корифей —
Певец любви, певец Руслана!
Что для тебя шипенье змей,
Что крик и Филина и Врана!

– И филина и врана, – растерянно повторил Энгельгардт тонким голосом.

Как пропустила цензура? Как бумага выдержала? Кюхля погиб, и Бог с ним, с Кюхлей, но Лицей, Лицей! Падает тень на весь Лицей. Он погибнет, Лицей, без всякого сомнения. А кто виною? Два неорганизованных существа, два безумца – Пушкин и Кюхельбекер.

Энгельгардт снял очки, аккуратно положил их на стол, вынул из кармана огромный носовой платок, уткнулся в него и всхлипнул.

VI

Однажды пришел к Вильгельму Пущин, посидел у него немного, посмотрел ясными глазами вокруг и сказал, морщась:

– Какой у тебя беспорядок, Вильгельм.

Вильгельм рассеянно огляделся и заметил, что в комнате действительно страшный беспорядок: книги валялись на полу, на софе, рукописи лежали грудami, табачный пепел покрывал стол.

Пущин посмотрел на друга внимательно. Он сразу же разгадывал истинное положение вещей и сразу же разрешал все вопросы. Он вносил порядок во все, с чем соприкасался.

– Милый, тебе необходимо нужно дело.

– Я работаю, – сказал Вильгельм, на которого Пущин всегда действовал успокаивающе.

– Не в этом суть: тебе не работа, а дело нужно. Пора себя взять в руки, Виля. Ты завтра вечером свободен ли?

– Свободен.

– Приходи к Николаю Ивановичу Тургеневу, там поговорим.

Больше разговаривать он не стал, улыбнулся Вильгельму, обнял его немного неожиданно и ушел.

Назавтра у Тургенева Вильгельм встретил знакомых – там уже сидели Куницын, Пущин и еще кое-кто из лицейских.

Тургенев, прихрамывая, пошел к Вильгельму навстречу. У него были пышные белокурые волосы, правильные, почти античные черты лица, розового и большого; взгляд его серых глаз был необыкновенно жесткий. Он протянул Вильгельму руку и сказал отрывисто:

– Добро пожаловать, Вильгельм Карлович, – мы вас поджидаем.

Вильгельм извинился и сразу же насупился. Ему показалось, что Тургенев был недоволен тем, что он запоздал.

Пущин кивнул ему по-лицейски, и Вильгельм понемногу успокоился.

За столом сидело человек пятнадцать. Маленькое худое лицо Федора Глинки, с добрыми глазками, приветливо Вильгельму улыбалось. В углу, заложив ногу на ногу и скрестив руки на груди, стоял Чаадаев, блестящий его мундир выделялся среди черных и цветных сюртуков и фраков. Белесоватые его глаза равнодушно скользнули по Вильгельму. Все ждали речи Тургенева.

Тургенев начал с жестом привычного оратора. Он говорил холодно, и поэтому речь его казалась энергической.

– Вряд ли я ошибусь, господа, – говорил Тургенев, – если скажу, что все мы, здесь находящиеся, связаны одним: желанием немедленных перемен. Жить тяжело. Невежды со всех сторон ставят преграды просвещению, шпионство усиливается со дня на день. Общество погружено в частные, мелкие заботы; бостон лучший опиум для него, он действует вернее всех других мер. Всем душно. И вот основное различие, которое отделяет нас от людей, прибегающих к бостону: мы надеемся изменить общество. Конечно, здравомыслящий человек, – Тургенев иронически протянул, – может думать, что все на свете проходит. Доброе и злое не оставляет почти никаких следов после себя. Казалось бы, очевидно? – обвел он глазами общество. – Что пользы теперь для греков и римлян, что они были республиканцы? И, может быть, эти причины должны побудить человека находиться всегда в апатии? – И он посмотрел полувопросительно на Чаадаева.

Чаадаев стоял, скрестив руки, и ни одна мысль не отражалась на его огромном блестящем лбу.

– Человек создан для общества, – отчеканил Тургенев. – Он обязан стремиться к благу своих ближних, и более, нежели к своему собственному благу. Он должен всегда стремиться, –

повторил он, – даже будучи не уверен, достигнет ли он своей цели, – и Тургенев сделал жест защиты, – даже будучи уверен, что он ее не достигнет. Мы живем – следовательно, мы должны действовать в пользу общую.

И опять, обернувшись к Чаадаеву, как будто он был не уверен, согласен ли Чаадаев с ним:

– Можно увериться легко в ничтожестве жизни человеческой, – сказал он, – но ведь эта самая ничтожность заставляет нас презреть все угрозы и насилия, которые мы неминуемо, – он отчеканил слово, – на себя навлечем, действуя по убеждению сердца и разума.

И, как бы покончив со своей мыслью, заключил резко:

– Словом! как бы цель жизни нашей ни была пуста и незначительна, мы не можем презирать этой цели, если не хотим сами быть презренными.

Он оглядел собравшихся. Голос его вдруг смягчился, он неожиданно улыбнулся:

– Может быть, то, что я сейчас говорил, и лишнее... Но дело, к которому я хочу вам предложить приступить, – дело тяжелое, и лучше сказать лишнее, чем не договорить. Я продолжаю. Двадцать пять лет войны против деспотизма, войны, везде счастливо законченной, привели к деспотизму худшему. Европа своими правителями отодвигается на задворки варварства, в котором она долго блуждала и из которого новый исход будет тем труднее. Тираны всюду и везде уподобились пастухам старых басен.

– У нас в России – и по степени образованности, – процедил из угла Чаадаев.

Тургенев как бы не расслышал его.

– Пастухам, гоняющим овец по своему капризу туда и сюда, – продолжал он. – Но овцы не хотят повиноваться. Пастух натравливает на овец собак. Что должны делать овцы? – Он улыбнулся надменной улыбкой. – Овцы должны перестать быть овцами. Деспоты, которые управляют овцами посредством алгвазилов, боятся волков. Грабительству, подлости, эгоизму поставим препойной твердость. Станем крепко, по крайней мере без страха, если даже и без надежды.

Он говорил непреклонно, так говорил бы памятник на площади, если б получил дар речи.

– Я подхожу к самой цели нашей. Мы год от году приближаемся к развязке. Самовластие шатается. Если не мы казним его, его казнит история. Когда развязка будет? Будет ли она для нас? Мы не знаем. Но все чувствуют, что это – начало конца. Не будем же в недвижной лени ждть нашего часа. Перейдем немедленно к целям ближайшим.

Серые глаза Тургенева потемнели, а лицо побледнело. Голос стал глухим и грубым.

– Первая цель наша – уничтожение нашего позора, галерного клейма нашего, гнусного рабства, у нас существующего. Русский крестьянин, как скот, продается и покупается.

Тургенев приподнялся в креслах.

– Позор, позор, которому причастны мы все здесь! – закричал он и потряс костылем.

Все молчали. Тургенев, отдышавшись, откинулся в креслах. Он обвел глазами присутствующих:

– Крестьяне русские должны быть освобождены из цепей во всем государстве немедленно.

И вдруг, рассеянно глядя, сказал со странным выражением, как бы отвечая самому себе на сомнение:

– Вопрос этот даже так первенствует перед всеми, что от него зависит весь образ правления, к которому надлежит стремиться. В этом все дело. Бесспорны выгоды правления республиканского. При нем отличительный характер людей и партий гораздо яснее (он сказал это по-французски: *plus prononcé*), и здесь человек выбирает без всякой... нерешимости, *duplicité*, свой образ мышления и действий, свою партию. А в монархическом правлении человек всегда обязан, хотя и против своей воли, ставить свечу и ангелу и черту. Твердое намерение для него часто вредно и всегда бесполезно. Царя всегда окружали и будут окружать великие подлецы. Подлость – от царя понятие неотделимое. Выгоды республики неоспоримы. Но, с другой стороны, опасно терять, – продолжал он раздумчиво, – самодержавную власть прежде уничтожения рабства.

Он опять рассеянно обвел глазами всех присутствующих и медленно закончил:

– Ибо пэры-дворяне, к коим неминуемо перейдет самодержавная власть, не только его не ограничат, но и усилят.

Наступило молчание.

– И все же не могу согласиться с Николаем Ивановичем, – заговорил тогда Куницын, как бы продолжая какой-то давнишний спор. – Сословные интересы не могут быть поставлены выше государственных; строй государственный на всей жизни общественной отражается. Крестьяне в республике вольными гражданами будут.

– Если их заблагорассудят освободить дворяне, коим будет всей республики власть принадлежать, – сказал холодно Тургенев. – Во всяком случае, все мы, кажется, согласны, что крепостное право, иначе бесправие, должно быть искоренено. И нахожу одно средство для сего – вольное книгопечатание. Я предлагаю издавать журнал без одобрения нашего цензурного комитета. Целью журнала должна быть борьба против крепостного права и за вольности гражданские. Прошу, господа, делать по сему поводу указания.

Первым заговорил Федор Глинка, маленький человек с кротким и печальным взглядом:

– Полагаю, господа, что первое – это журнал должен быть дешев настолько, чтобы и мещане, и даже класс крестьян мог его покупать.

Тургенев радостно закивал головой:

– И я, как экономист, подскажу, любезный Федор Николаевич, что для это требуется: наибольший расход книжек, вдвое, втрое противу обычного.

Пуцин сказал безо всякой официальности, по-домашнему:

– Нужно устроить типографию где-нибудь подале, в деревне, что ли, чтобы пастухи или там алгвазилы не пронюхали.

Все рассмеялись. Вильгельм сказал, запинаясь и волнуясь:

– С журналом трудно обращаться, выход может быть замедлен, продавать его затруднительно. Лучше бы надо в народ, на толкучих рынках, пускать листы. И в армию тоже, и по губерниям.

Тургенев пристально взгляделся в Вильгельма:

– Мысль блестящая. И можно карикатуры на царя и Аракчеева пускать. Смех бьет чувствительнее ученых исканий. Предлагаю, господа, выбрать редакторов.

– Тургенев, – сказали все.

Тургенев слегка кивнул головой.

– Кюхельбекер, – сказал Пуцин.

Вильгельм покраснел, встал и неловко поклонился.

– А что же вы, Петр Яковлевич, не подаете голоса? – спросил Тургенев Чаадаева, посмеиваясь.

– Рад, – сказал тихо Чаадаев, – рад участвовать в незаконнорожденном журнале.

Тургенев улыбнулся.

Когда все расходились, он сказал Вильгельму дружески и вместе снисходительно:

– Я испытываю почтение к мечтам моей юности. Опытность часто останавливает стремление к добру. Какое счастье, что мы еще неопытны!

VII

Но дело заглохло. Раза два приходил к Вильгельму Пущин, говорил о типографии, что не устраивается все типография, места подходящего не сыскать. Тургенев скоро уехал за границу. Так незаконнорожденный журнал на свет и не появился.

А Вильгельм, сам не понимая себя, тосковал. Он даже не знал хорошенько, любит ли он Софи. Он не знал, как это называется: тоска по ночам, задыхания, желание увидеть сейчас же, сию же минуту, темные китайские глаза, родинку на щеке, – а потом, при встречах молчание, холодность. Потому ли он тосковал, что был влюблен, или потому влюбился, что тосковал? Он готов был ежеминутно погибнуть – за что и как, он и сам пока не мог сказать. Участь Занда волновала его воображение.

Софи вошла в него, как входят в комнату, и расположилась там со всеми своими вещами и привычками. Это было для нее немного смешное, неудобное помещение, очень забавное и странное. Вильгельм растерянно смотрел, как китайские глаза перебегают с розового Панаева на бледного Илличевского, а потом на томного Дельвига и даже на кривого Гнедича.

Журнал Тургенева не клеился, служба в Коллегии иностранных дел, уроки в Университетском благородном пансионе, возня с детьми начали утомлять Вильгельма. Даже вид на Калинин мост, который открывался из его мезонина (он жил в доме Благородного пансиона, в крохотном мезонинчике) его раздражал. Миша Глинка целыми днями играл на рояле, и это развлекало Вильгельма. У этого встрепанного маленького мальчика с сонными глазами все пьесы, которые уже когда-либо слышал Вильгельм, выходили по-новому. Лева Пушкин, белозубый курчавый мальчик, отчаянный драчун и повеса, вызывал неизменно нежность Вильгельма. Но он был такой проказник, подстраивал Вильгельму столько неприятностей, так неугомонно хохотал, что Вильгельма брала оторопь. Он уже и не рад был, что переехал в пансион.

Однажды Вильгельм встретил у тетки Брейткопф Дуню Пушкину. Она только что кончила Екатерининский институт, ей было всего пятнадцать лет. Она была дальней родственницей Александра, а Вильгельм любил теперь все, что напоминало ссыльного друга. Дуня была весела, движения ее были легки и свободны. Он стал бывать у тетки – и Дуня бывала там часто. Раз, когда Вильгельм был особенно мрачен, она дотронулась до его руки и сказала робко:

– Зачем же так грустить?

Когда Вильгельм вернулся домой и на цыпочках прошел к себе в комнату (мальчики в соседней комнате давно уже спали), он долго стоял у окна, смотрел на спящую Неву и вспоминал:

«Зачем же так грустить?»

VIII

Вильгельм засиделся у Рылеева. За окном была осень, очень ясная ночь. Рылеев был сегодня тише и пасмурнее, чем всегда, – у него были какие-то домашние неприятности. Но Вильгельму не хотелось уходить.

Вдруг под окном раздался несколько необычный шум голосов. Рылеев быстро взглянул в окно и схватил за руку Вильгельма: кучки взволнованных людей бежали по улице. Потом шаги марширующих солдат, громохание пушек и снарядных ящиков, конский топот. Проскакал верхом на лошади какой-то офицер с взволнованным лицом.

– Пойдем посмотрим, что случилось.

Они торопливо вышли и присоединились к бежавшим. Они спрашивали на ходу:

– Что случилось?

Никто хорошенько не знал. Один молодой офицер ответил нехотя:

– В Семеновском полку замешательство.

Рылеев остановился и перевел дух. Он побледнел, а глаза его заблестели.

– Бежим, – сказал он глухо Вильгельму.

Так они добежали до Семеновского плаца.

Перед госпиталем стояла черная масса солдат в полном боевом снаряжении. Перед ними метались растерянные, перепуганные ротные командиры, о чем-то просили, размахивая руками, перебегали от одного фланга к другому – их никто не слушал.

Было темно.

Вильгельму казалось, что в темноте стояла тишина, а в тишине непрерывное жужжание и крики. Крик начинался в одном месте, одинокий и несильный, потом перебежал, усиливаясь, по двум-трем рядам и наконец становился ревом:

– Роту!

– Роту назад!

– Шварца сюда!

В Семеновском полку давно было неладно. Полковой командир Шварц был выученик аракчеевской школы. Он был любимцем великого князя Михаила Павловича. Великий князь любил строгих начальников. У него самого была крепкая рука. Для солдат Шварц создал небывалую каторгу – с утра до ночи фрунт бесконечный, репетиции парадов чуть не каждую неделю. Он перестал пускать солдат на работу, говоря, что они, поработав, теряют солдатскую стойку, но денег у солдат не было, а аракчеевский ученик требовал чистоты необыкновенной. В два месяца первая рота истратила свои артельные деньги, определенные на говядину, – на щетки, мел и краги. Вид у солдат был изнуренный. В довершение всего начались Шварцевы десятки. Он приказал, чтобы каждый день роты по очереди присылали к нему по десяти дежурных. Он их учил, для развлечения от дневных своих трудов, в зале. Их раздевали донага, заставляли неподвижно стоять по целым часам, ноги связывали в лубки, дергали за усы и плевали в глаза за ошибки, а полковник командовал, лежа на полу и стуча руками и ногами в землю. На полу было удобно следить линию вытянутых носков.

Донимало в особенности то, что Шварц был зверь не простой: он издевался, кривлялся, передразнивал солдат и офицеров; его били судороги, и он кричал тонким голосом в лицо бессмысленную ругань. Он был не простой зверь, а зверь-актер. Может быть, он кривлялся, подражая Суворову.

С 1 мая по 3 октября 1820 года Шварцем было наказано сорок четыре человека. Им было дано от ста до пятисот розог. В общей сложности это составляло четырнадцать тысяч двести пятьдесят ударов – по триста двадцать четыре удара на раз.

Первая рота потеряла терпение. Она принесла петицию. В ней поднялся ропот.

Тогда командующий корпусом Васильчиков сделал инспекторский смотр роте.

Он кричал бешеным голосом, осаживая коня перед ротой, что каждого, кто осмелится рот разинуть, он прогонит сквозь строй.

Он потребовал от командира списки жалобщиков.

Он спрятал батальон павловских гренадеров с заряженными ружьями в экзерциргаузе. Потом послал в полк приказ привести роту в полуформе и без офицеров в экзерциргауз *для справки амуниции*.

При входе в манеж Васильчиков встретил роту.

– Ну что, все еще недовольны Шварцем? – закричал он, почти наезжая белым храпящим жеребцом на солдат.

Рота ответила, как на параде:

– Точно так, ваше превосходительство!

– Мерзавцы! – крикнул Васильчиков. – Шагом марш в крепость!

И рота пошла в крепость. Это было в десять часов утра. Полк не знал, что роту отвели в крепость. О ней ничего не было известно.

Наступил полдень – роты не было. Офицеры не приходили. Офицеры предпочитали отсиживаться дома. Ропот шел из казармы в казарму. Всюду собирались кучками солдаты, кучки росли, потом таяли, потом опять возникали.

Наступила ночь, и полк заволновался.

Всю ночь солдаты не спали. Они разбрасывали вещи, разнесли нары, выбили стекла, разрушили казармы.

Они вышли на площадь в полном составе. Чувство, ими никогда не испытанное, охватило их – чувство свободы. Они поздравляли друг друга, они целовались. Наступил праздник – бунт. Они требовали роты и выдачи Шварца.

– Роту!

– Шварца!

– Смерть Шварцу!

Они отрядили сто тридцать человек казнить Шварца. Солдаты прошли, маршируя, к нему в дом. Шварца не было. Они ничего не тронули. На стене висел семеновский мундир Шварца; один солдат сорвал с него воротник: Шварц был недостоин мундира. Сын Шварца, подросток, попался им на дворе. Они арестовали его. По дороге они бросили его в воду. Один унтер-офицер, кряхтя, разделся и вытащил его на глазах у роты.

– Вырастет да в отца пойдет, тогда успеем сладить.

Рота не сердилась.

Рылеев и Вильгельм протискивались в толпу, когда посланные возвращались.

– Главное дело, как в воду канул, – говорил молодой гвардеец, разводя руками. – В сенях искали, в чулане искали, в шкап залезли – как сквозь землю провалился.

– Эх, вы бы в хлеву поискали, – сказал старый гвардеец со шрамом на лице, – беспреречно он в хлеву, в навоз закопавшись, сидит.

Кругом засмеялись. (А солдат был прав: Шварц, как потом оказалось, действительно спрятался в хлеву, в навозе.)

Вильгельм и Рылеев жадно расспрашивали у солдат, как все произошло. Солдаты их осматривали без особого доверия, но отвечать – отвечали.

Появился молодой генерал на коне, с высоким белым султаном. За ним ехали ординарцы. Он поднял руку в белой перчатке и сказал звонким голосом:

– Мне стыдно на вас смотреть!

Тогда тот самый солдат, который говорил о Шварце, что он спрятался в хлеву, подошел к генералу и спокойно сказал ему:

– А нам ни на кого смотреть не стыдно.

Генерал что-то хотел возразить, но из задних рядов крикнули ему:

– Проваливай!

Он повернул лошадь и ускакал. Вдогонку раздался хохот. Подъехали Милорадович и великий князь Михаил Павлович. Милорадович был мрачен.

– Что вы, ребята, задумали бунтовать? – Он говорил громко, хриплой армейской скороговоркой, видимо стараясь взять солдатский тон.

– Шварца, ваше превосходительство, убить хотим, – весело сказал из глубины молодой голос.

– Довольно мучений! – крикнул кто-то пронзительно.

Михаил начал говорить громко и отрывисто, выкрикивая слова. Он был приземистый молодой человек с толстым затылком и широким круглым лицом.

Солдаты молчали.

Вильгельм вдруг почувствовал бешенство.

– Аракчеев *le petit*,¹² – сказал он.

Михаил вдруг заметил их. Он что-то сказал Милорадовичу. Тот пожал плечами.

Потоптавшись на месте, Михаил начал о чем-то просить солдат и даже приложил руку к груди. Слов не было слышно. Солдаты молчали. Потом сзади надорванный голос крикнул:

– Мучители! Пропasti на вас нет!

Милорадович что-то тихо сказал Михаилу, тот побледнел. Они повернули лошадей и уехали.

Показался адъютант, держа над головой бумагу. Он прокричал:

– Полковник Шварц отрешается от командования, назначается генерал Бистром.

С минуту молчание, потом переключка отдельных голосов, потом грохот:

– Выдать Шварца!

– Роту!

Подъехал седой Бистром и отдал честь полку. Он сказал просительно:

– Пойдемте в караул, ребята.

Выступил старый гвардеец:

– В караул идти не можем, роты одной не хватает. Пока не скажете, где рота, ничего не будет.

Бистром опустил голову. Потом посмотрел на солдат:

– Она в крепости.

– Ну вот, – сказал спокойно старик, – нам без нее в караул невозможно. И мы в крепость пойдем: где голова, там и хвост.

Ротные командиры стали собирать роты. Батальонные командиры стали во главе батальонов. Команда и батальоны пошли.

– Куда они идут? – шептал Вильгельм в лицо Рылееву.

Тот отвечал нетерпеливо:

– Разве вы не слышите – в крепость.

Они пошли за полком. Неподалеку от крепости Рылеев остановился. Вильгельм посмотрел на него задумчиво и сказал:

– Только первый шаг труден.

Рылеев молчал.

Вильгельм вернулся домой под утро. Заспанный Семен сказал ему:

– К вам тут один господин давеча приходил.

– Кто такой?

– Не сказался. Много о вас выпрашивал. С кем водитесь, где бываете.

¹² Маленький, младший (фр.).

– Зачем? – недоумевал Вильгельм.

– Вот какое дело, Вильгельм Карлович, – сказал вдруг решительно Семен, – видно, нам с вами приходится уезжать. Господин этот мне даже довольно большие деньги сулил, чтобы я каждый день ему о вас докладывал. А кто он, так не иначе, как сыщик. Черненький из себя.

– Болтовня, – сказал, подумав, Вильгельм. – Просто чудака какой-нибудь, ложись спать.

Сам он не ложился. Он развернул тетрадь и стал писать в ней быстро крупными крючками. Марал, переписывал, вздыхал.

IX

Раз Семен протянул Вильгельму молча письмо. Вильгельм взглянул рассеянно на конверт и побледнел: конверт был траурный, с черной каймой.

– Кто приносил? – спросил он.

– Человек чей-то; чей – не сказывался, – отвечал Семен, пожимая плечами.

На листе английской траурной бумаги было написано тонким почерком с завитушками (где-то Вильгельм уже видал его):

«Иоаким Иванович Пономарев с глубочайшим прискорбием имеет честь уведомить вас, Милостивый Государь, о скоропостижной кончине супруги его Софии Дмитриевны, последовавшей волей Божиею 1-го сего ноября. Заупокойное служение имеет состояться сего 1-го дня ноября. Погребение совершено быть имеет 4-го сего ноября».

Вильгельм заломил руки. Вот что ему судьба готовила. Слезы брызнули у него из глаз, и лицо перекошилось, стало сразу смешным и страшным, безобразным. Он судорожно скинул халат, надел черное новое платье, руки его не хотели влезать в рукава.

Он вспомнил китайские глаза Софи, ее розовые руки и вскрикнул. Сразу выскочили из головы и пьяный муж, и Илличевский, и Измайлов. Он хотел сказать Семену, который смотрел на него почтительно и боязливо, чтобы тот его не ждал, но вместо этого постучал перед ним челюстями, что окончательно испугало Семена. Вильгельм не мог вымолвить ни слова.

Вошел он к Пономаревым запинаясь, ничего по сторонам не видя. В сенях никого не было. Девушка, пискнувшая при его появлении и шмыгнувшая в какую-то дверь, не остановила его внимания. Он вошел в комнаты. Там толпились люди, но из-за набежавших слез Вильгельм не приметил лиц, кроме розового Панаева, который почему-то держал платок наготове. Увидя Вильгельма, окружающие как по команде подняли платки к глазам и громко зарыдали. Вильгельм вздрогнул: ему почудилось, что среди общего плача кто-то рассмеялся.

Он смотрел на гроб.

Гроб, нарядный, черный, стоял на возвышении. Белая плоская подушка в кружевах выделялась на нем ослепительно. Сквозь слезы, застилавшие все, Вильгельм смотрел на подушку.

Лицо Софи было совсем живое, точно она сейчас заснула. На нем был легкий румянец; черные ресницы как будто еще вздрагивали.

С громким плачем, не обращая внимания на окружающих, Вильгельм бросился к гробу. Он вгляделся в лицо Софи, потом прикоснулся губами ко лбу и руке. Вдруг сердце его остановилось: когда он целовал руку, показалось ему, что покойница дала ему легкого щелчка в губы. Он хотел подняться с колен, но покойница обвила его шею руками. Вильгельму стало дурно. Тогда Софи вскочила из гроба и стала его тормошить. Он смотрел на нее помутившимися глазами.

– Это я друзей испытываю, – говорила, хохоча, Софи, – искренно ли они меня любят.

В зале стоял хохот. Особенно надсаживался розовый Панаев. Он даже присел на корточки и носом издавал свист. Вильгельм стоял посреди комнаты и чувствовал, как пол колеблется под ногами.

Потом он шагнул к Панаеву, схватил его за ворот, приподнял и прохрипел ему в лицо:

– Если бы вы не были так мне мерзки, я бы вас пристрелил, как зайца.

Софи, испуганная, дергала его за руку.

– Вильгельм Карлович, дорогой, это я виновата, я хотела, чтобы вышло весело, – не сердитесь же.

Вильгельм наклонился к ней, посмотрел в ее лицо бессмысленным взглядом и пошел вон.

– Monsieur, qui prend la mouche,¹³ – презрительно пробормотал оправившийся Панаев.

¹³ Господин, который сердится из-за пустяков (фр.).

Х

А Семен был прав. Действительно, пришла пора уезжать. Жизнь выметала Вильгельма, выталкивала его со всех мест. Он очень легко и незаметно перестал посещать службу в коллегии, потом подумал и отказался от журнальной работы. Как-то само собою вышло, что стал запускать уроки в пансионе, перестал обращать внимание на Мишу и Леву – и вскоре снова съехал с мезонина вместе со своим Семеном. Началась суетливая и странная жизнь. То он пропадал из дому целыми днями, а то ходил, не вылезая из халата, по комнате. Семена он совершенно перестал замечать.

Мать писала ему нежные письма. Вильгельм с трудом заставлял себя отвечать на них. Здоровье распаталось: ныла грудь и стало заметно гложуть правое ухо. Раз он заехал к тетке Брейткопф. Тетка поставила торжественно перед ним кофе и долго на него смотрела. Потом сказала:

– Вилли, ты должен отсюда уехать. Мы с Justine все уже обдумали. Ты должен быть профессором. Уезжай в Дерпт. Дерпт хороший город. Там ты отдохнешь. Господин Жуковский, несомненно, знает тебя с самой лучшей стороны и сможет тебя устроить.

Вильгельм прислушался.

– В самом деле, может быть, в Дерпт?

Профессура в Дерпте, зеленый садик, жалюзи на окнах и лекции о литературе. Пусть проходят годы, которых не жалко. Осеть. Осеть навсегда. Он вскочил с места и поблагодарил тетку.

Послушно пошел к Жуковскому, разузнал все, что надо. Дело складывалось блестяще: дерптский профессор Перевоищikov, который преподавал русский язык в университете, собирався в отставку.

Жуковский переговорил с графом Ливеном, а Кюхля написал немецкое письмо к его Magnificenz¹⁴ ректору. И стал собираться к отъезду.

На вечере у Софи он написал в альбом прощальную, очень грустную, но холодную записку:

Человек этот всегда был недоволен настоящим положением, всегда он жертвовал будущему и в будущем предвидел одни неприятности; его многие почитали человеком необыкновенным и ошибались; другие... Верьте, что он был лучше и хуже молвы и суждений о нем людей, знавших только его наружность.

В. К.

Днем, однако, он заехал к ней проститься еще раз. Он никак не мог так просто уехать. Он вошел без доклада, оттолкнув слугу. Софи сидела на диване. Ее обнимал розовый, припомаженный Панаев.

Вильгельм, не сказав ни слова оторопевшей хозяйке, повернулся и ушел.

Софи больше для него не существовала. В Дерпт он все же ехать не хотел. Уж совсем расквитаться с Россией, с Петербургом, с теткой Брейткопф, хлебнуть нового воздуха. Море было нужно Вильгельму.

Он пошел к Дельвигу посоветоваться. Дельвиг сказал очень спокойно и даже лениво:

– Нет ничего проще. Мне предлагают место секретаря у этого толстобрюхого Нарышкина. Он едет за границу на несколько лет. Рассердился, что жене не дали екатерининской ленты, и хочет расплесться с Россией. Я ехать ленив. Завтра я с ним переговорю – и в путь-дорогу. Всех разбросало: Пушкин в ссылке, ты уезжаешь. Забавно!

Вильгельм первый раз за полгода свободно вздохнул.

¹⁴ Превосходительству (нем.).

Назавтра же сговорился он с Нарышкиным. Александр Львович был необычайно учтив. Он прищуренными глазами осмотрел Кюхлю. Чудаковатая фигура его будущего секретаря ему очень понравилась. В ней было нечто оригинальное. С таким не соскучишься в пути. Они условились о дне отъезда. Вильгельм должен получить отставку, уладить все дела, выхлопотать паспорт. Маршрут: Германия – Южная Франция («прекраснейшие места, – сказал Нарышкин, – лучше Италии»), Париж. В Париже Александр Львович собирался осесть на более продолжительное время.

Когда Вильгельм возвращался домой, его окликнул голос девушки, он посмотрел: мимо проехала Дуня. Она радостно ему улыбнулась. Вильгельм приподнял цилиндр и несколько минут смотрел ей вслед.

Вечером этого дня Вильгельм долго ходил взад и вперед по комнате. Он думал о Пушкине, о Софи, о Рылееве, раз вспомнил Дунино лицо, – но сквозь них уже мелькали какие-то новые поля, моря, Европа. Кого он оставлял? Друзья его забудут скоро. Пушкин не пишет – что ж, он далеко... Мать? Он ей радостей не принес. «Ни подруги, ни друга не знать тебе вовек», – вспомнил он Пушкина. Он поглядел на его портрет и стал укладываться.

Европа

I



Свобода, свобода!

Как только захлопнулся за ними шлагбаум, Вильгельм все забыл: и Софи, и Панаева, и даже тетку Брейткопф. Ему было двадцать три года, впереди лежала родина Шиллера, Гёте и Занда, и загадочный Париж с еще не остывшей тенью великого переворота, с Латинским кварталом, шумный и ласковый, Италия с небывалым небом и воздухом, который излечит его грудь. Вперед, вперед!

Александр Львович Нарышкин, кося иронически заплывшими глазками на Вильгельма, был поражен его словоохотливостью. Длинный сухарь был положительно любопытным собеседником и, что еще больше нравилось старому остряку, наполовину утратившему вкус ко всему, даже к островам, «ужасным оригиналом». Александр Львович прожил большую жизнь. Был и придворным куртизаном (чин его был обер-гофмаршал), и директором театров, и знаменитым петербургским хлебосолом, и как-то не удержался ни тут, ни там, не осел нигде – и ехал сейчас за границу дошучивать свободное время, которого, кстати, было много. По каким

причинам, – было неясно никому, в том числе, верно, и самому Александру Львовичу, чуть ли не действительно потому, что его жену, Марию Алексеевну, обошли екатерининской лентой. Настроений у Александра Львовича за день менялось до десятка. Порция крупных острот и каламбуров за завтраком, недовольное, важное и оппозиционное настроение к вечеру, а в промежутке тысяча неожиданных решений и удивительных поступков. Если Александр Львович решал за завтраком в «этом городишке» ни часу лишнего не сидеть, то это означало, что он засядет в нем на неделю. Если Александр Львович был доволен всеми служащими с утра, это был верный признак того, что за обедом он будет всех бранить. Разговоры его были не только остры, у него была прекрасная память, и Вильгельм с удивлением иногда открывал в своем толстом патроне образованность, которой раньше в нем и не подозревал. Анекдотов о двух дворах Александр Львович знал такое множество, что Вильгельм не раз спрашивал его, почему он не запишет, – получилась бы презанимательная книга. Александр Львович отмахивался и говорил:

– Напишешь, а потом скажут, что сочинил, – к чему мне это?

Нарышкин был богат бесконечно, и это, видимо, его тяготило, потому что он ухитрялся тратить там, где это было, казалось бы, невозможно. Покупал по дороге решительно все: и роскошные ткани, и ковры, и вазы, и камни, и книги – лишь бы все это было «оригинально».

Он был уже стар, полупотух, и Вильгельм только догадывался, каким фейерверком был этот человек в молодости.

Чудак старого света полюбил нового чудака. Когда Вильгельм соскакивал с коляски, чтобы сорвать по дороге полевой цветок, Александр Львович смотрел на него с удовольствием. Суждения нового чудака занимали его, как какая-нибудь модная безделушка в лейпцигской лавке.

Немного ливонской скуки по дороге. Но она восхитила Вильгельма. Огромные ели, темно-зеленые сосны, непроходимые болота напоминали ему те места, в которых он провел раннее детство: мрачное Ульви, Авинорм, изрезанный ручьями, песчаный Неннааль. Вильгельм столько наговорил романтической чертовщины о ливонских замках, что Александр Львович, суеверный, как всякий истый русский вольтерианец, был немного даже смущен.

Прекрасный возок несет Александра Львовича и Вильгельма. Мелькают тракты, версты, запыленные листья придорожных деревьев.

Дальше!

И Вильгельм в Германии.

II

Дорогой между Гурицбергом и Грозенгаймом.

27/15 октября 1820 г.

Мы оставили Берлин и Пруссию. В Берлине я, между прочим, посетил фарфоровую фабрику. Механические работы, машины, горны и прочие предметы, для многих очень занимательные, не только не возбуждают во мне любопытства, они для меня отвратительны; нечистота и духота, господствующие в них, стесняют, стук оглушает меня, пыль приводит в отчаяние, а сравнение ничтожных, но столь тяжелых трудов человеческих с бессмертными усилиями природы будит во мне какое-то смутное негодование.

Только тогда чувствую себя счастливым, когда могу вырваться и бежать под защиту высокого и свободного неба; чувствую себя счастливым даже под завыванием бурь и грохотом грома: он оглушает меня, но своими полными звуками возвышает душу.

Дрезден. 30/18 октября.

Елиза фон дер Реке, урожденная графиня Медем, величественная, высокая женщина, она некогда была из первых красавиц в Европе, ныне, на шестьдесят пятом году своей жизни, Елиза еще пленяет своею добротою, своим воображением. Фон дер Реке была другом славнейших особ, обессмертивших последние годы Екатеринина века: ее уважали особенно, потому что она умела бороться с гибельным суевением, которое Каглиостро и подобные обманщики начали распространять в последние два десятилетия минувшего, осьмнадцатого века. Ныне это суевение не встречается даже между мужчинами столь просвещенных противников, какова была в прошедшем столетии смелая женщина-автор, в наше время оно быстро распространяется, воскрешая старинные, давно забытые сказки наших покойных матушек и нянюшек и находя покровителей высоких! Все мы смеемся над привидениями, домовыми, предсказаниями и волшебниками; но как не признать власть черных и белых магов, говорящих самым отборным и темным языком о возможности соединиться с душами, отлученными от тела, о существовании элементарных духов, о тайных откровениях и предчувствиях? Зато господа Каглиостро нашего времени одеваются в самое лучшее английское сукно, носят карманные часы, от них пахнет ароматами, их руки украшены кольцами, а карманы нашими деньгами; они все знают, везде бывают, со всеми знакомы, наши жены находят, что они ловки и любезны, а мы, что они премудры! И как высоко эти господа порою забираются! Но возвратимся к женщине, которая сорвала личину с их предшественника. – Каглиостро в свою бытность в Митаве успел воспламенить молодое тогда воображение госпожи фон дер Реке и сестры ее, герцогини Курляндской. Впрочем, Елиза не долго могла быть в заблуждении; она вскоре открыла всю гнусность обманщика и почла своею обязанностью пожертвовать собственным самолюбием для спасения других от сетей подобных извергов: она отпечатала описание жизни и деяний графа Каглиостро в Митаве. Я никогда не забуду этой величавой, кроткой любимицы Муз: вечер дней ее подобен тихому, прекрасному закату солнца, ее обожают все окружающие.

III

Комната небольшая, загроможденная книжными шкапами, рукописи лежали на столе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.